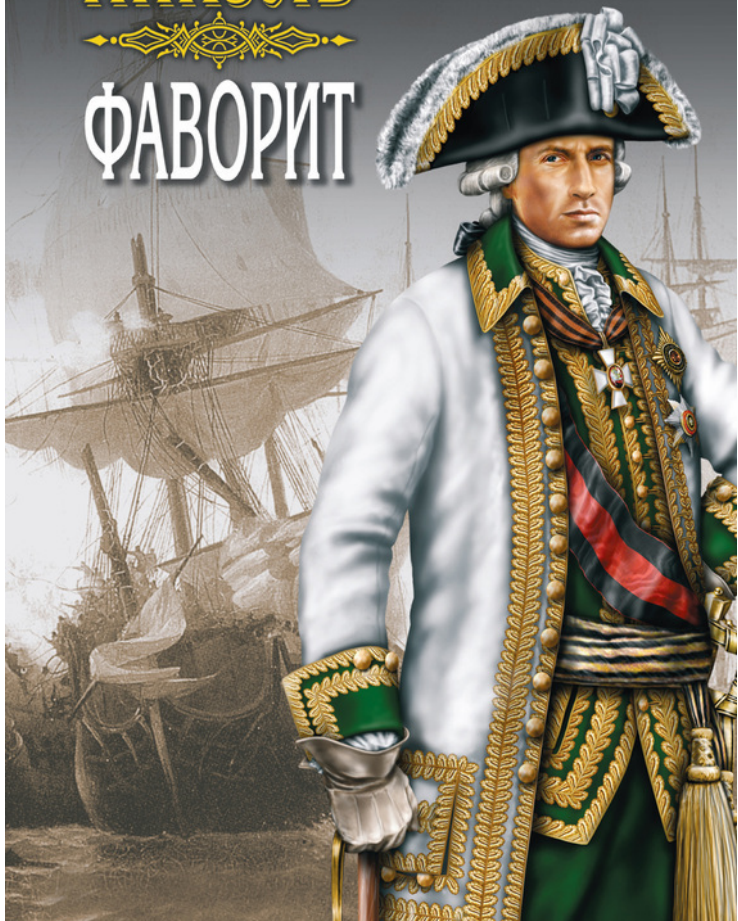


ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



ФАВОРИТ



Валентин Саввич Пикуль
Фаворит. Книга вторая.
Его Таврида. Том 3
Серия «Фаворит», книга 2

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164028

Фаворит. Книга вторая. Его Таврида. Том 3: АСТ; Москва; 2017

ISBN 978-5-4444-8939-0

Аннотация

Роман «Фаворит» – многоплановое произведение, в котором поднят огромный пласт исторической действительности, дано широкое полотно жизни России второй половины XVIII века. Автор изображает эпоху через призму Действий главного героя – светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, фаворита Екатерины II; человека сложного, во многом противоречивого, но, безусловно, талантливого и умного, решительно вторгавшегося в государственные дела и видевшего свой долг в служении России.

Содержание

Памятник (Пролог, могущий стать эпилогом)	5
Действие десятое. Чужие праздники	12
1. Вступление	12
2. «Все – наше, и рыло в крови»	26
3. «Сестра» Емельяна Пугачева	35
4. Праздник после казни	43
5. Тяжелая муха	53
6. Продолжение праздника	62
7. Поединки	73
8. Комедия Бомарше	84
9. На живодерне	95
10. Дела и дни Потемкина	105
11. Берлинские амуры	116
12. Залом	127
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Валентин Пикуль

Фаворит. Книга вторая.

Его Таврида. Том 3

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

*Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб, я червь – я бог!*

Г. Державин

*Россия велика сама по себе, я что ни делаю,
подобно капле, падающей в море...
Екатерина – Потемкину (1787 г.)*

Памятник (Пролог, могущий стать эпилогом)

Со смерти Потемкина миновало уже 38 лет... В морозную зиму 1829 года бедный казанский чиновник Текутьев санным путем пробирался в Яссы, чтобы из тамошнего госпиталя вывезти домой сына, обезноженного турецким ядром под стенами Силистрии. Время опять было военное, для России привычное. Давно остались позади теплые дома Полтавы, погасли огни уютного Елизаветграда, за Балтой открылись раздольные степи с редкими хуторами. Мело, мело... пуржило и вихрило! А за Дубоссарами кони шли, сторожа уши, опасливые. Казалось, ямщик сбился с пути, но в отдалении вдруг замерцал одинокий желтый огонь окошка.

– Уж не худые ль там люди? – обеспокоился Текутьев.

– Не, барин. Тут солдат живет...

Кони всхрапнули возле лачуги, утонувшей в снегу. Внутри убогого жилья сидел дряхлый солдат в обветшалом мундире с медалями «времен Очакова и покоренья Крыма».

– Далеко ль еще до Ясс ехать?

– Верст сорок, почитай, станется.

– А чего ради, отец, живешь ты здесь?

– Я не живу, – отвечал солдат. – Охраняю.

– Что в экой глуши охранять можно?

– Место.

– Место? – удивился Текутьев. – Какое ж тут место?

– Названия у него нет. Здесь вот, сударь мой, упал на землю и умер князь Потемкин, царствие ему небесное...

Только сейчас Текутьев заметил в углу, подле божницы с лампадкой, гравюру в рамочке. В картуше ее была надпись: «Изображение кончины светлейшего князя Потемкина-Таврического, равно как и местности, срисованной с натуры, и особ, бывших при сем горестном событии». Гравировал Скородумов с картины итальянского живописца Франческо Казановы. Текутьев прочитал и стихи, оттиснутые под гравюрою:

О, вид плачевный! Смерть жестока!

Ково отъемлешь ты от нас?
Как искра, во мгновенье ока,
Герой! Твой славный век погас!
Надменны покорив нам грады,
Сам кончил жизнь среди степей
И мира сладкого отрады
Во славе не вкусил своей...

Тыча пальцем в гравюру, старый солдат пояснил:

– И посеючас иных помню. Вот руки-то заломил секретарь евоный Попов, в белом мундире адмирал де Рибас, он Одесу потом строил... Плачет казачий атаман Антон Головатый, который запорожцев из-за Дуная вывел. А вот и сама гра-

финя Браницкая, племянница князева. Она-то пенсия для содержания поста нашего и отчисляла. Да что-то давно денег не шлет. То ли забыла, то ли померла. Ведь нас было тут трое. Но товарищей похоронил, один я остался. Христовым подаванием от проезжих кормлюсь.

– И давно ты здесь? – спросил Текутьев.

– Еще матушка Катерина посадила нас тут, чтобы не забылось, на каком месте Потемкин преставился. Сказывали начальники тако: сидите, покедова памятник ему не поставят. Да что-то не слышать, чтобы ставили... Вот и сижу! Жду...

Текутьев принес из возка дорожный баульчик. Накормил солдата. Табаку и чаю отсыпал, чарку наполнил.

– Не скушно ль тебе здесь, старина?

– Нет, сударь. Я про жизнь свою вспоминаю... – Вокруг на множество миль бушевала пурга. Под ее завывания ветеран рассказывал путнику: – А служить при светлейшем было нам весело. И никогда он нашего брата не обижал. Грех жаловаться. Под Очаковом, помню, на свой счет солдат рижским бальзамом поил, чтобы в шанцах не мерзли. От самой Риги до Очакова длинные обозы гонял – за бальзамом. Штука крепкая и вкусная! Сколько он палок об своих генералов изломал, но солдата николи пальцем не тронул. Мы от него, кроме ласки, ничего не видывали... Нет, – заключил старый, – язык не повернется осудить его. Боюсь, что умру, и навеки забудут люди место сие важное...

Утром пурга стихла. Отдохнувшие лошадки сами нашли тракт до Ясс молдаванских. Текутьев, завернувшись в шубу, думал о встрече с калекою сыном, ему грезились памятные строки:

Се ты, отважнейший из смертных,
Парящий замыслами ум,
Не шел ты средь путей известных,
Но проложил их сам, – и шум
Оставил по себе в потомки, –
Се ты, о чудный вождь Потемкин!

Это строки державинские, памятные еще с гимназии.
А старый солдат умер на посту, охраняя место...¹

...

«Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами Родине, а его человеческое достоинство – силою его патриотизма» – так утверждал Чернышевский, и эти слова вполне применимы к Потемкину, большие государственные заслуги которого ныне уже никто не отрицает.

Он был велик. Хотя бывал и ничтожен...

¹ Сейчас здесь стоит обелиск, а возле него – камень, отмечающий географическую точку, где навек успокоился Потемкин (это неподалеку от молдаванского местечка Старые Редены).

Потемкин не просто фаворит – это уже целая эпоха!

Когда его не стало, Екатерина со страхом ожидала появления на юге страны самозванца вроде Пугачева – под именем светлейшего. Но такого неповторимого человека, способного предстать перед народом в образе «великолепного князя Тавриды», не явилось, да и не могло явиться...

Суворов претерпел немало обид от Потемкина, и все-таки гибель светлейшего повергла его в тяжкое уныние.

– Великий человек был! – воскликнул он с присущей ему образностью. – Велик умом был и ростом велик! Никак не походил на того французского посла в Лондоне, о коем лорд Бэкон говаривал, что у того чердак плохо меблирован...

Державин написал на смерть Потемкина знаменитый «Водопад». Денис Фонвизин незадолго до смерти изложил свою печаль в «Разсуждении о суетной жизни человеческой». Адмирал Ушаков еще не остыл после жаркой битвы у Калиакрии, когда известие о смерти Потемкина настигло его бедой – непоправимой.

– Будто в бурю сломались мачты, – сказал он, – и не знаю теперь, на какой берег нас выкинет, осиротевших...

Граф Румянцев-Задунайский, уже престарелый и немощный, узнал о смерти князя Таврического в черниговских Вишенках, где проживал на покое. Фельдмаршал бурно разрыдался. Молоденькие невестки выразили удивление его слезам:

– Как можете вы оплакивать человека, который был вра-

гом вашим, о чем вы и сами не раз уже нам сказывали?

Петр Александрович отвечал женщинам так:

– Не дивитесь слезам моим! Потемкин не врагом мне был, а лишь соперником. Но мать-Россия лишилась в нем великого мужа, а Отечество потеряло усерднейшего сына своего...

И дословен отзыв будущего императора Александра I:

– Сдох! Одним негодяем на Руси меньше стало.

Григорий Александрович Потемкин уже тогда был гоним. Так не раз случалось с выдающимися людьми: оклеветанные в жизни, они посмертно затоптаны в грязь. Потемкин был осмеян, о нем рассказывали небылицы и анекдоты. Его преследовали даже в могиле: злые руки терзали прах его, срывая ордена и эполеты. Фаворита не раз переворачивали в гробу, как проклятого колдуна, а сам прах таскали с места на место, словно не ведая, куда его спрятать, – даже сейчас мы не знаем точно, где он покоится (хотя официальная гробница Потемкина-Таврического сохраняется в соборе Херсона).

Почти два столетия подряд загробная тень Потемкина неприкаянно блуждала в русской истории – между великолепными одами Державина и грязными пасквилями злопыхателей. Время не пощадило памятников, даже прекрасные монументы в Херсоне и Одессе оно сбросило с пьедесталов. Странно повела себя и Екатерина: в манифесте по случаю кончины Потемкина она обещала увековечить память своего фаворита и сподвижника монументом, но... Неужели забыла? Вряд ли. Скорее всего – не пожелала. Почему?

Екатерина щедро платила героям своего века, возводя в их честь статуи, триумфальные арки и дворцы, украшала парки колоннами, стелами и обелисками. Под конец жизни сооружала мавзолеи даже над прахом своих собачек, сочиняла пышные эпитафии котам, сдохшим от обжорства на царской кухне. Но память главного героя своего бурного царствования императрица не почтила... Почему?

Об этом спрашивали и Потемкина – еще при жизни его:

– Ваша светлость, отчего до сей поры не поставлен приличный монумент славы вашей?

Потемкин обычно вспоминал при этом Катона:

– Лучше уж пусть люди говорят: «Отчего нет памятника Потемкину?», нежели станут языками имя мое по углам мусолить: «За какие такие заслуги Потемкину памятники ставят?»»

Действие десятое. Чужие праздники

Взирая на нынешнее состояние отечества моего с таковым оком, каковое может иметь человек, воспитанный по строгим древним правилам, у коего страсти уже летами в ослабление пришли, не могу я не дивиться, в сколь краткое время повредились повсюдно нравы в России.

М.М. Щербатов. О повреждении нравов в России

1. Вступление

Летом 1774 года политики Европы с нетерпением выжидали: когда же наконец «варварская» Россия свернет себе шею?

Потемкин брезгливо ворошил газеты Кёльна и Гамбурга: – Почитаешь их, так у нас все мерзко, мы тут еле дышим, в нашем супе вместо каперсов тараканы сварены. Однако ежели у нас все так скверно, с чего бы это многие из Европы в Россию сбегаются? А вот русский человек, единственный в мире, эмиграции ведать не ведает...

В небывалом смятении переживая затишье на войне и успехи народной армии Пугачева, императрица в эти дни

сказала придворным дамам – без намека на юмор, вполне серьезно:

– Дождусь виктории за Дунаем, словно «маркиза» Пугачева, четвертую его и навещу Москву, где, назло всем бабкам-шептуньям, пойду с графиней Прасковьей Брюс в общую баню. Пусть все видят на Москве, что я телятина еще молодая...

Ей было 45 лет: по тем временам – старуха!

Всю жизнь ее выручало железное здоровье, крепкие нервы и умение не унывать в любых обстоятельствах. С началом же Крестьянской войны у Екатерины участились короткие, но глубокие обмороки, лицо ее искажали нервные тики. Было замечено, что иногда императрица вроде бы заговаривается. В беседе с Сольмсом она понесла даже явную чепуху, и Потемкин шепнул ей:

– Като, не рассказывай, что тебе снилось...

Екатерина вскоре же позвала его к себе.

– Женщина не всегда говорит что надо. И не всегда можно одергивать императрицу, особенно при послых иноземных. – Она поднесла ему табакерку из авантюрина. – Имей, друг! Если и впредь скажу глупость, открой ее – я пойму тебя...

Ей понадобилась справка о доходах с рижской таможни. Она прошла в соседние комнаты, где торжественно восседали кабинет-секретари – Елагин с Олсуфьевым. Екатерина невольно обратила внимание, что эти господа разъелись словно боровы. Сейчас перед ними лежал громадный вест-

фальский окорок, они алчно поедали его, запивая крепким английским портером (а государственные бумаги опять бьются в жирных пятнах).

– Да перестаньте насыщать утробы свои! – крикнула Екатерина. – Сколько кораблей пришло в Ригу от начала нынешней навигации?

– Через курьера справимся, – отвечал Елагин.

– Лентяи бессовестные! Могли бы знать о сем и заранее...

Почему одна я должна тащить этот воз по дурным дорогам?

Вернувшись к себе, она призналась Потемкину:

– Разгоню всех! Нужны молодые люди. Новые...

Ее навестил мрачный гигант Пиктэ, сообщивший:

– Кажется, Версаль отзывает графа Дюрана на родину...

Екатерина выразила желание повидаться с Дюраном.

– Политика, милый граф, как густой гороховый суп, которым меня пичкали в детстве, и с тех пор я не знаю ничего гаже... – Она понимала, почему отзывают Дюрана: там, в Версале, постоянно жаждали унижить значение России в делах Европы; теперь следует ожидать из Франции не полномочного посла, а лишь жалкого поверенного в делах. – Если вы покинете нас, – сказала Екатерина в конце разговора, – мне еще очень долго будет не хватать вашего приятного общества.

Дюран (человек с опытом) нарочно ушел от политики.

– Я всегда был восхищен вашим величеством, – сказал он. – Будь вы даже частным лицом, вы и тогда доставили бы

немало хлопот дипломатам Европы – как... женщина!

– А я жалею, что не мужчина и не служу в армии.

В таких случаях доза лести крайне необходима.

– Вы легко достигли бы чина фельдмаршальского!

– С моим-то драчливым характером? – хмыкнула Екатерина. – Что вы, посол! Меня бы пришибли еще в чине поручика. – Прощаясь с Дюраном, она вдруг в полный мах отвесила ему политическую оплеуху. – Я не знаю, как сложатся мои дальнейшие отношения с Версалем, но можете отписать королю: французы способны делать в политике лишь то, что они могут делать, а Россия станет делать все то, что она хочет делать...

Никита Иванович Панин, молча присутствовавший при этой беседе, потом строго выговорил императрице, что так разговаривать с послом великой державы все-таки нельзя:

– Мы уж и без того навязли в зубах всей Европы...

Екатерина отвечала «визирю» с небрежностью:

– Ах, господи! Нам ли, русским, бояться Европы, похожей на кучу гнилой картошки? Никогда не прощу Дидро его слов, будто Россия – «колосс на глиняных ногах». Красиво сказано, и боюсь, что эта ловкая фраза сгодится еще для архивов вселенского бедлама. Но мы уже давно стоим на ногах чугунных...

Тяжелая промышленность России круто набирала мощь. На далеком Урале, в гуще буреломов и в пламени заводских горнов, ворочался в огненном аду тот беспокойный русский

мужик, который много позже станет величаться «рабочим классом». Да! Умели гулять. Умели и бунтовать. Но зато и работать умели...

Екатерина ногою откинула трен широкого платья.

– Пусть Европа ведет себя со мною повежливей, – сказала она Панину в заключение. – Россия имеет столько домен, сколько и не бывало в Англии, а чугуна плавим больше англичан, больше Франции и больше Швеции. Надо будет, черт побери, так до самого Рейна всю Европу ядрами закидаем!

...

Умные люди никогда не обманывались: дело было не в женской «дешперации», которую обязан удовлетворить Потемкин, – Екатерина выдвигала его как свежую здоровую силу, далекую от грызни придворных партий. Именно такой человек способен нейтрализовать враждующих, исходя в своих решениях лишь из государственной пользы. И пусть сикофанты Орловых и Паниных морщатся – она приобщила Потемкина к делам Военной коллегии, а в Совете его голос станет эхом ее желаний. Панин сразу ощутил для себя угрозу, он умышленно раздражал честолюбие наследника Павла и его жены Натальи, а блюдо сосисок с гарниром из битого стекла уже фигурировало в депешах иностранных послов, – теперь и Екатерина догадывалась, что стекла попали в эти сосиски не по вине пьяного повара... Пребывая в панической

тревоге от дел «маркизовых», Екатерина заговорила, что сама возглавит войска против Пугачева...

– Дождусь вот только реляций от Румянцева...

Румянцев не слишком-то радовался «случаю» Потемкина, признавшись секретарям, Безбородке и Завадовскому: «Этот кривой меня на кривых не объедет. В эдаком-то деле, каковы дела альковные, замену всегда сыскать мочно...» Однако, положив руку на сердце, Петр Александрович честно признавал, что с тех пор, как Военная коллегия подчинилась Потемкину, воевать стало легче. На себе испытал тяготы фронтовой жизни, Потемкин никак не стеснял действий Румянцева, не трепал ему нервов указами, а, напротив, скорым порядком слал и слал подкрепления: «За что ему спасибо великое от воинства нашего...»

Седьмой с начала войны визирь Муэдзин-заде мечтал в это жаркое лето разбить русских на русском берегу Дуная, а Румянцев (вот приятное совпадение!) решил разбить турок на турецком берегу того же Дуная. Визирь собрал 100-тысячную армию в болгарской Шумле, уверенный, что дунайские цитадели, Рушук и Силистрия, задержат неверных. Но Румянцев, форсировав Дунай на широком фронте, не стал штурмовать крепостей, обезвредив их блокадою. Впервые перед армией россиян открывался великолепный стратегический простор.

Румянцев предпринял удар на Шумлу, дабы покарать дерзкого визиря в его же ставке. Вперед он выслал дивизии

Суворова и Каменского, а лучше бы не пытался совмещать несовместимое. Суворов терпеть не мог Каменского – как дурака, а Каменский не выносил Суворова – как чудака. Оба они (и дурак, и чудака) были в чинах генерал-поручиков, но Каменский получил этот чин на год раньше и потому требовал подчинения себе. Не выяснив отношений до конца, начальники дивизий выступили в поход... Каменский взял Базарджик, занял опушку густого леса, за которым лежала болгарская деревушка Козлуджа; здесь Каменский треуголкой гигантских размеров долго отмахивал от себя жалящих слепней, рассуждая при этом о Суворове:

– И чего это наболтали о нем, будто он скор в маневре? Вот я пришел и жду, а Суворова нет как нет...

Суворов явился, но свою дивизию поставил поодаль. У него было всего 8000 штыков, и здесь, в лесу под Козлуджей, он за восемь часов жестокой битвы разгромил 40 000 турок. А пока он там сражался, Каменский слепней от себя отмахивал:

– И чего это Суворова нахваляют? Да кто ж, глупый, в эдаком лесу возьмется встречный бой принимать? Ай-ай, вот чудило гороховое! Гляди-ка, он еще пушки в лес потащил...

Суворов в этом бою взял столько трофеев, что Каменский срочно послал гонца к Румянцеву – с вестью о своей победе под Козлуджей. Лес был завален трупами. Жарища адская. Воды не было. Раненые орали. Солнце подогрело страсти, и

Суворов в лицо Каменскому высказал все, что думал о нем. Каменский отослал его к Румянцеву, а Румянцев, разливая Суворова последними словами, отослал Каменского – брать Шумлу... Решение не было соломоновым. Суворов заплакал и сказал, что сносить несправедливости более не желает, лучше поедет на Волгу – ловить Пугачева, а Каменский походил вокруг Шумлы, словно кот вокруг сметаны, и в нерешимости остановился. Но тактика сама перевоплотилась в стратегию, когда летучий корволант генерала Заборовского начал карабкаться уже на кручи Балкан! Все тылы армии султана, потрясенные битвою при Козлудже, разом пришли в хаотичное движение. Началась суматошная паника – кого-то казнили, кого-то грабили, – и Муэдзин-заде решил, что Румянцев обошел его с тыла: ворота на Константинополь открыты неверным. Визирь запросил мира... Румянцев даже улыбался-то редко, а тут вдруг захохотал как безумный.

– Ежели турецкий лев стал ручным и кладет гриву на колени мои, так не премину случая обкорнать ему когти!

С пасмурным челом он выслушал турецких делегатов. О чем они? Перемирие? Конгресс? Опять бумаги писать?..

– Никаких конгрессов о перемириях! Мое оружие будет действовать наступательно до той блаженной минуты, пока мира не утвердим. А что касаяемо артикулов, кои диктовать вам стану, так о них извещены вы были заранее – еще от нашего посла Обрескова, и мой генерал князь Репнин, ежели вы что позабыли, о тех артикулах усердно напомнит...

Репнин отвез турецких представителей в деревушку Кучук-Кайнарджи, где и предложил им сесть в хате на лавку.

– Приступим, – сказал он, похрустев пальцами...

Напрасно король Фридрих II торопил своего посла графа Цегелина, чтобы поспешил к посредничеству о мире, дабы его королевство извлекло выгоды из чужой ссоры, – Цегелин все-таки опоздал: переговоры уже завершились. Без него! Цегелин въехал в деревню. На завалинке хаты сидел аристократ Репнин и пил молодое вино с реис-эфенди Ибрагимом, бывшим рабом.

– Садитесь с нами, – предложил князь послу. – Все кончено. Уже готовим лошадей для курьеров до Петербурга...

Так победою Суворова при Козлудже Россия отвоевала почетный мир, названный по деревне – Кучук-Кайнарджийским!

Турция признала новую соседку – Россию Черноморскую, но Европа ахнула, увидев, что неожиданно возникла новая морская держава – Россия Средиземноморская! Назло врагам она выдвинулась на самый передний край Большой Международной Политики...

...

Курьеры доставили мир в столицу 24 июля, когда стало известно, что Пугачев уже в 80 верстах от Нижнего Новгорода... Но еще накануне Никита Панин, желая вернуть се-

бе прежнее влияние при дворе, намекнул Потемкину, чтобы начальство над войсками, двинутыми против «пугачей», доверили его братцу – графу Петру Ивановичу, «герою Бендер». Григорий Александрович охотно согласился, а Екатерина накуксилась.

– Но это же мой персональный враг, – сказала она.

– Был! – отвечал Потемкин. – Но теперь он персональный враг Пугачева и тебе, матушка, аки пес служить станет...

– Срочно отпиши Румянцеву, дабы Суворова с войском отпустил с Дуная на Волгу, пущай генерал поспешит, чтобы сообща с Паниным «маркиза» нашего изловить...

Неорганизованные, плохо вооруженные ватаги «пугачей» должны были встретиться с вышколенной в боях регулярной армией, приученной побеждать. Вечером в собрании Эрмитажа императрица играла в карты и тихонько шепнула Потемкину, чтобы он посмотрел на графа Никиту Панина:

– Он уже сделался похож на китайского мандарина, от глаз одни щелочки остались... Это хорошо... Пусть ест и дальше. Толстые да сытые меньше всего к заговорам приспособлены.

Но из этих «щелочек», как из бойниц вражеской крепости, Потемкин уловил внимательное прицеливание умных глаз. А подле Панина восседала его новая метресса – Марья Талызина, женщина таких невероятных объемов, что глядеть было страшно. Екатерина, прикрыв губы веером, фыркнула:

– Представляю их в минуту любовной пылкости...

Панин под конец вечера жестоко отомстил ей:

– Имею для вас неприятное сообщение из Рагузы...

Рагуза – ныне Дубровник в Югославии (а в ту пору столица Дубровницкой республики, сенат которой имел в Петербурге своего посла).

На юге России из новых земель, отвоеванных кровью, уже складывалась **Новая Россия**, и Потемкин был сделан первым новороссийским наместником.

– Куда уж выше? – сказал он. – Но можно и выше...

...

Изучение вольнолюбивых трудов Монтескье и Дидро – пусть этим ее величество занимается, а у Степана Ивановича Шешковского иные заботы, более вразумительные. Сидючи под иконами, скушал он просфорку божию и пальцем – дерг-дерг – подозвал сподвижников своих, палачей Могучего и Глазова:

– Великая силища на Волге собралась! Вы, орлы, струмент пытошный в бережении содержите. Чую, вскорости Емельку клещами рвать станем, истины от него домогаясь...

И чуял он, просфорку жуя, что возвышается: быть ему в ранге статского советника. Ого-го! Степан Иванович шуршал доносами, листая новое дело, заведенное им на графа Андрея Разумовского, который блудно жил с великой княгиней Натальей Алексеевной... Что ж, Екатерина не вечна,

после нее на престол взойдет Павел, а связь Разумовского с Natalie окрепнет с годами, чего доброго, и сыночек у них явится, и тогда Разумовский займет в империи такое же место, какое в давности занимал Меншиков или Екатерина I...

Тут было отчего крепко задуматься Шешковскому, мысли которого из степей Приволжья переносились в альковы персон высокопоставленных.

...

После тяжелых боев с повстанцами Михельсон отвел регулярные войска на Уфу и этим маневром открыл Пугачеву дорогу на Каму и Волгу. Народ все притекал под знамена «Петра III» – неисчислимый, как песок, «пороху же у них столь довольно было, что у убитых сыскивалось в подушках патронов по 15, в особливых мешочках по полфунту пороху...». В июне Пугачев подошел под стены крепости Оса, гарнизон которой, усиленный пушками, решил не сдаваться. Но солдаты в гарнизоне все же сомневались – царь Пугачев или не царь?

Из крепости вышел старый гвардеец, лично знавший Петра III. Пугачев рискнул, да столь дерзко рискнул, что мог бы здесь же, под Осою, и головы лишиться. Одетый в простое казачье платье, он встал в ряду иных повстанцев, а гвардеец пошел вдоль ряда, всматриваясь в бородатые лица.

– Эй, старик! – окликнул Пугачев гвардейца. – Неужто

не узнал меня?.. Смотри, дедушка, в оба глаза да узнавай поскорее своего законного государя.

Старец смутился и корявым пальцем неуверенно указал на Пугачева:

– Кажись, похож на государя-то.

– А коли так, – подхватил Пугачев, – так ступай обратно в крепость да скажи всем, чтобы мне не противились...

Оса сдалась. Пугачев перевешал всех офицеров, сохранив жизнь подпоручику Минееву, которого наградил чином полковника. Благодарный за это Минеев сказал:

– Позволь, государь, прямо на Казань тебя выведу.

– Коли так, то веди, – согласился Пугачев...

Казань была предана пламени, и только в кремле города не сдавался гарнизон. Здесь Пугачев повстречал свою законную жену Софью с детишками. Его увидел сын, крикнувший:

– Гляди, матушка, какво батюшка ездит!

В этот опасный момент Пугачев тоже не растерялся:

– Да это, вишь ты, семья Емельки Пугачева, который за меня пострадал, – объяснил он казакам. – Я эту бабу с детьми знаю. Пушай за нами в обозе едет...

Под Казанью появился Михельсон, в жестоком сражении его войска разбили неопытное войско мнимого Петра III. Пугачев с остатками войска бежал вверх по Волге, где у села Кокшайского свершил переправу и сказался в самой гуще той крепостной России, которая была еще не тронута восстанием, но уже, подогретая слухами о свободе, она, эта Россия,

стала поднимать вилы, топоры и косы...

Все думали, что Пугачев повернет на Нижний Новгород, до которого было рукой подать, и в Нижнем уже готовились испытать то, что в полной мере испытала Казань, но Пугачев бежал к югу, быстро усиливаясь толпами мордвы и чувашей... «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием» – так писал Пушкин. От Саранска – через Пензу – он устремил свое победное движение на Саратов... На всем пути народ принимал его с великой радостью.

2. «Все – наше, и рыло в крови»

Разумовский, как верный паж, неся скамеечку и зонтик, сопровождал великую княгиню в прогулке. Прическа молодой ветреницы была налажена по моде парижской: в шиньоне она упрятала крохотные бутылочки с говяжьим бульоном, питавшим свежие розы. Вернувшись из парка в покои Царскосельского дворца, женщина игриво спросила мрачного мужа-цесаревича:

– Как вам нравится газон на моей голове?

– Вы богиня... вы прекрасны. И еще эти розы... ах!

От кордегардии рокотал барабан, зверинец оглашало рычанье медведей, кричали голодные павлины. Друзья прошли к столу. Между мужчинами, поддернув юбки, уселась Natalie.

– Если в Европе меня называют Гамлетом, – рассуждал Павел, – то мне повезло: я отыскал свою Офелию.

Павел жил иллюзиями, а его «Офелия» – долгами и потаенной страстью. Екатерина после истории с сосисками отшатнулась от сына. «Считаю испорченным тот день, – говорила она, – в котором сына повидаю. А коли он, глупенький, Гамлетом себя почитать изволит, то играть на театре «Гамлета» Шекспира я запрещаю...»

Она права: исторические аналогии бывают и опасны!

И уж никак не ожидала императрица, что ее чадо вдруг

представит «Разсуждение о государстве вообще... и касательно обороны всех пределов». Павел, по сути дела, не рассуждал – он жестоко расхаял все время правления своей матери. Павел призывал Екатерину к покою во внешней политике, чтобы Россия занимала в Европе позицию лишь оборонительную...

– Читая ваше «Разсуждение», сын мой, – сказала мать, – можно подумать, что войну с Турцией начала я ради собственной славы. Вашему высочеству, однако, неразумно упрекать меня в войне, зачатой едино лишь в продолжение той политики, коя от Петра Великого россиянам завещана... Нам без моря Черного не бывать, как не бывать и без моря Балтийского! Да, согласна я, что война сия отяготила народ. Не спорю. Но, скажите, какая война облегчает нужды народные? Я таких войн не припомню... А что за военные поселения вы придумали?

Павел растолковал: армию сократить, гвардию раскассировать, а по рубежам страны основать военные поселения, дабы крестьяне, весело маршируя, пахали и сеяли. (Вот откуда зарождалась на страх народу будущая «аракчеевщина».)

– Не ваша это фантазия! – обозлилась Екатерина. – Подобные поселения Мария-Терезия уже завела на границах Венгрии и Буковины, а нам, русским, того не надобно. Не поручусь за цесарцев, но русского хлебопашца в казарму не засадишь. Мало нам одной пугачевщины? Так и вторая случится...

Когда Павел покидал кабинет, ему пришлось перешагнуть через вытянутые ноги Потемкина, не соизволившего извиниться.

– «Разсуждение» сие, – намекнул потом фаворит Екатерины, – исходит, судя по его слогу, из предначертаний панинских. Что граф Никита, что граф Петр, оба они до прусских порядков всегда охочи и к тому же цесаревича сызмальства приучали...

Павел, оскорбленный до слез, удалился на свою половину дворца, где его ожидали Разумовский с Натальей, звонко стучавшей по паркетам красными каблуками варшавских туфель.

– Теперь, – сказал им Павел, – у меня не остается иного пути, как завести собственную армию – образец будущей! Но для квартирования полка нужны владения земельные.

Наталья Алексеевна заметила, что regiment можно разместить в густых лесах Каменного острова. Разумовский возразил:

– Это слишком близко от резиденции, и каждый маневр наш через полчаса станет известен императрице...

Павел выразительно глянул на жену:

– Ангел мой, когда вы станете в тягостях и понесете к престолу наследника, матушка моя – она уже обещала мне! – наградит нас обширным имением. – Павел не заметил, что жена его не менее выразительно глянула на Андрея Разумовского. – Я догадываюсь, – заключил муж (ни о чем не дога-

дываясь), – что матушка перекупит от Гришки Орлова его Гатчину с замком, и там-то мы уж славно замаршируем на любой манер...

Он скромно выклянчивал у матери 50 тысяч рублей.

– Нельзя так много тратить! Впрочем, – согласилась Екатерина, – просимую сумму выдам. Но лишь после того, как отпразднуем разгром Пугачева и славный мир Кучук-Кайнарджийский... Верьте слову матери, сын мой.

Екатерина была извещена, что Пугачев сумел внушить своим приверженцам веру в близкий приезд к нему Павла с войском.

И самозванец Пугачев, и цесаревич Павел одинаково тревожили тень убитого Петра III, приписывая ему добродетели, каких у того никогда и не было. Что-то мнимо-схожее прослеживалось в манифестах Пугачева к народу и в «Разсуждении» Павла, который позже и доказал, что ненависти к дворянству у него в душе накопилось ничуть не меньше, нежели было ее в сердце Пугачева... Да и сам Пугачев доиграл свое самозванство до конца. Когда его опутывали веревками, он, расщипывая губы, еще долго угрожал предателям именем своего «сына»:

– Вот ужо придет сюды-тко Павлик с войском немалым – он вам, гультяям, все башки с плеч поотрывает!..

В эти неприятные дни Екатерина сказала Потемкину:

– Не хотела тебя тревожить, но все-таки знай: Никита Панин передал мне очень скверное сообщение из Рагузы...

Потемкин вышел из кабинета ее со странными словами:
– Все будет наше, и рыло в крови!

...

Регулярные войска мало соприкасались с Пугачевым – все сделали отряды Ивана Михельсона и князя Петра Голицына. Личная роль Суворова в разгроме Пугачева была настолько ничтожна и невыразительна, что и говорить о ней не пристало. Но граф Петр Иванович Панин, злобный старик, завидуя молодой славе Михельсона и Голицына, сознательно приписал все их заслуги Александру Васильевичу Суворову (и себе, конечно)...

Пугачев оставил Казань, дотла сожженную и разграбленную, вокруг города на много верст лежали трупы убитых. Пугачев кружил и петлял по лесам и балкам, потом вдруг решительно переправился через Волгу, сразу же попав в густонаселенную дворянско-усадебную Россию, где очень быстро собрал новую армию из крепостных крестьян. Всюду он раздавал народу соль и вино бесплатно, сыпал в толпу медяки, призывал вешать дворян от мала до велика. Поля были вытоптаны конницей, скотина бродила недоенная, израненные лошади умирали на обочинах. Пенза отворила перед самозванцем ворота, жители стояли перед ним на коленях; гарнизон Саратова перешел на его сторону; когда у Пугачева не хватало картечи, он палил из пушек деньгами. Двигаясь

вниз по Волге, Емельян Иванович был отражен от Царицына, а возле Сарепты повстречал в степи академика Ловица, изучавшего прохождение светил, и, не поверив, что человек способен заниматься такой ерундой, велел его вздернуть (поближе к звездам, как писал А.С. Пушкин).

Но за Сарептой армию Пугачева настиг неутомимый Михельсон, который одним ударом опрокинул мятежников в реку. Пугачев тут бросил все пушки, все обозы и скрылся с яицкими казаками на восточном берегу... Надвигалась осень. Беглецы углубились в степи. Пески, безводье, сушь, клекот орлов.

– Куды ведете меня? – спрашивал Пугачев.

Яицкие старшины отвечали с большой неохотой:

– Нам на Яик надобно, деток да баб повидать...

Ехали Сиротской дорогой, которая заводила на Иргиз или Яик. Пугачев доказывал в спорах, что идти надобно к закубанским татарам или к староверам-некрасовцам, чтобы с их помощью искать милости и прибежища у султана турецкого:

– А султан меня почитает и казакам всегда обрадуется. По дороге же Астрахань пограбим, вот и уйдем богатыми...

Пугачев не знал, что среди казачьей верхушки, которая его выдвинула (и которой он верил), уже созрел заговор: сдать «надежу-государя» властям, получить за него денежки, обещанные царицей в манифесте, и потом с чистой совестью жить да поживать на берегах тихого Яика... Яицкие казаки, атаманы Чумаков, Творогов, Федульев и Бурнов, говорили

друг другу:

– Тады нам и кровь невинную простят, смилуются.

Стремя соловой лошади Пугачева соприкасалось со стременем Коновалова, родного брата «императрицы» Устины; это был верный телохранитель Пугачева... Казаки вывели отряд на Узени – таинственные реки без конца и начала, теряющиеся в травах и камышах, столь высоких, что в них не заметишь и всадника. Издревле в этих краях, обильных живностью, укрывались волжские разбойники, а старoverы имели тайные скиты и молельни. Отсюда и до Яицкого городка было уже недалече... На ночь расседлали коней. Яр-ко вспыхнул костер. Пугачев строил планы: коли Астрахань взять, к яицким примкнут казаки донские, терские и гребенские. С ним вроде бы соглашались. Пугачев велел шурина не отлучаться:

– Да штобы, гляди, мой соловый под седлом наготове был. Пистолеты штобы с пулями, проверь...

Творогов в караул поставил своих сообщников, соловую лошадь в темноте заменил худой кобылой с пугачевским седлом, а пистолеты спрятал. На следующий день шатер Пугачева навестили отшельники-старoverы, принеся в дар «государю» арбуз превеликих размеров. Пугачев сказал:

– Поедим арбуза да поедем. Ну-ка, Чумаков, разрежь энтого богатыря, штобы каждому было поровну...

При этом он протянул Чумакову длинный кинжал, с которым не привык расставаться. Чумаков подмигнул сообщ-

никам, глубоко вонзя нож в кровавую мякоть. Посыпались черные семечки.

– Что, ваше величество, куда путь направили? – спросил Чумаков.

– А я думаю двинуться к Гурьеву городку. Там перезимуем и, как лед вскроется, сядем на суда да поплывем за Каспийское море...

– Иван, что задумал – то затевай! – крикнул Федульев Бурнову. Тот схватил Пугачева за руки.

На него набросились, отобрали оружие.

Старцы-отшельники от страха попадали на землю. Пугачев опрометью выскочил из шатра – с криком:

– Измена, измена... Солового коня сюда!

В горячке он даже не разобрал, что под ним чужая кобыла. Коновалов пластал над собой воздух саблей, защищая царя-шурина, но его тут же изрубили в куски. По камышам, сухо трещавшим, в страхе разбежался народ. Пугачева сдержали с седла.

У него было взято: 139 червонных монет разной чеканки, 480 рублей серебром, турецкая монета (тоже из серебра) и... медаль на погребение императора Петра III. Пугачева отвезли в Яицкий городок, заперли в клетку, с бережением доставили в Симбирск, где и состоялась его встреча с Иваном Паниным.

– Как же смел ты, вор, назваться государем?

– Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает, – бросил

ему в ответ Пугачев.

При допросе Пугачева пытали, Панин разбил ему до крови лицо, в ярости выдрал клоч волос из бороды. Однако страдания не сломили Пугачева. В ноябре его привезли в Москву и посадили на цепь в Монетном дворе в Охотском ряду. Опасаясь, что Пугачев умрет до того, как от него «выведдают» все, Екатерина повелела при допросах проявлять «возможную осторожность».

Празднование Кучук-Кайнарджийского мира откладывалось.

– Пока Шешковский все жилы из нашего «маркиза» не вытянет, – решила она, – и пока его в куски не разнесут топорами, мне на Москве-матушке веселиться несподобно...

Потемкин готовил почту Румянцеву, имевшему после войны пребывание в Могилеве на Днестре. Секретарям велел:

– Надо быстро скакать. Пишите подорожную на двенадцать лошадей. – Он вручил курьеру письма. – Ежели фельд-маршал станет спрашивать, как у нас, отвечай: «Все наше, и рыло в крови!»

3 октября Шешковский тронулся в путь – на Москву, дабы по всем правилам искусства пытать Пугачева. Его сопровождали палачи Могучий и Глазов – дядя с племянником. Степан Иванович не миновал ни единой церкви в дороге, а палачи совались в каждый кабак... Так и ехали: одни с акафистами, другие с песнями.

3. «Сестра» Емельяна Пугачева

Императрица полагала, что – «пугачевщина» взошла на дрожжах политических интриг.

– Матушка, – убеждал ее Потемкин, – ошиблась ты. Никаких происков иноземных не обнаружено. Признаем за истину, раз и навсегда: возмущение мужицкое есть природное российское...

Чтобы стереть в народе память о «пугачевщине», решили они казачество с Яика впредь именовать уральским.

– Станицу же Зимовейскую, коя породила такого изверга, разорить вконец, а жителей ея переселить в иное место.

– На что им таскаться по степи с сундуками да бабками? – рассудила Екатерина. – Вели, друг мой, Зимовейскую станицу именовать Потемкинской, и пусть имя твое, Гришенька, на ландкартах в истории уцелеет...

Потемкин продолжал штудировать все 28 артикулов Кучук-Кайнарджийского мира. Крым из подчинения султанам турецким выпал, содеявшись ханством самостоятельным. Россия обрела Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн. В русские пределы вошли степи ногайские между устьями Днепра и Буга – пусть невелик кусок, но флоту есть где переждать бури, а верфи следует заводить немешкотно. Босфор, слава богу, теперь отворен для прохождения кораблей русских. Турция признала протекторат России над молдаванами и вала-

хами... Конечно, князь Репнин – дипломат ловкий: артикулы обнадеживают. Но так ли уж все ладно? Екатерина была удивлена, что фаворит этим миром был недоволен.

– При ханской независимости Бахчисарай обретает право вступать в союзы с врагами нашими и с турками не замедлит союз заключить... Вот тебе: не успели мир ратифицировать, как турки возле деревни Алушты десант высадили на радость татарам, а народу нашего-то сколько побили – страсть! Крым, – доказывал Потемкин, – надобно в русскую провинцию обращать. Не к лицу великой державе гнусную бородавку иметь!

Екатерина, думая о другом, отвечала ему подавленно:

– У меня сейчас иная бородавка выросла, и откуда она взялась – сам бес не разберет. Но понятно, что «маркиз Пугачев» такой сестрицы из Рагузы ведать не ведает...

...

Служители римского ломбарда были растерянны, когда появилась молодая красавица. Ее сопровождали богатые паны в жупанах, бренчащие саблями у поясов, за ними негр в белой чалме и араб в желтом бурнусе внесли тяжеленные ящики. Дама сказала, что за тысячу цехинов желает держать в закладе фамильные драгоценности русского дома Романовых. Служители ломбарда отвечали женщине, что они безумно счастливы хранить такое сокровище.

– Но, синьора, мы должны вскрыть ящики...

– Как вы можете не доверять мне? – вспыхнула красавица. – Мне, дочери русской императрицы Елизаветы и родной сестре Емельяна Пугачева? (Она произносила: Эммануил Пукашофф.)

– Мы боготворим вашу экселенцию, но по закону обязаны составить опись на ваши драгоценности.

В ящиках «сестры Пукашоффа» оказался всякий хлам, а драгоценности дома Романовых никак нельзя спутать с булыжниками. Не смутившись, женщина удалилась в сопровождении пышной свиты, а служители ломбарда оценили ее бесподобную грацию:

– Эта мошенница отлично сотворена богом...

Современники писали о ней: «Принцесса сия имела чудесный вид и тонкий стан, возвышенную грудь, на лице веснушки, а карие глаза ее немного косили». Называла себя по-разному: дочь гетмана Разумовского, черкесская княжна Волдомир, фрау Шолль, г-жа Франк, внучка Петра I или внучка шаха Надира, Азовская принцесса, мадам де Трёмуйль, персианка Али-Эмете, Бетти из Оберштейна, княжна Радзивилл из Несвижа, графиня Пинненберг из Голштинии, пани Зелинская из Краковии, «последняя из дома Романовых княжна Елизавета», – и никогда не именовалась Таракановой, хотя под таким именем и сохранилась в истории. Княжна Тараканова (придется называть ее так) блестяще владела французским, немецким, хуже итальянским, по-

нимала на слух речь польскую. Она стреляла из пистолетов, как драгун, владела шпагой, как мушкетер, талантливо рисовала и чертила, разбиралась в архитектуре, играла на арфе и лютне, но лучше всего она играла на мужских нервах...

Россия была поглощена войной, и Петербургу было глубоко безразлично появление в Париже «султанши Али-Эмете». Екатерину не волновало, что литовский магнат Михаил Огинский, музыкант и композитор, пламенно влюбился в экзотическую женщину, невольно вовлекая ее в атмосферу эмигрантской политики, несогласной с королем Станиславом Августом Понятовским. Но сам Огинский бедствовал в изгнании, и Тараканова покинула конфедератов, окрыленная надеждами и слухами о России, которые она искусно расцвечивала собственной фантазией – всегда к своей личной выгоде... Проездом через Германию она вскружила голову князю Филиппу, владельцу Лимбурга, известного выделкой «лимбургского сыра». Филипп предложил «султанше» стать его супругою. Запутав старого дурака в долгах, Тараканова как бы нечаянно проговорила, что она дочь Елизаветы и гетмана Разумовского (самозванка не знала, что фаворитом Елизаветы был не гетман Кирилл, а его старший брат Алексей Разумовский).

– Пугачев действует со мною заодно, – сказала она. – Я решила оставить Екатерине Петербург и дам ей имение в Лифляндии. Знайте же, что Пугачев тоже сын гетмана Разумовского!

Вскоре она встретила литовского *panie Kochanku* Радзивилла, который ради борьбы с королем оставил в Несвиже свои погребя. Радзивилл страдал меланхолией от пьянства, а меланхолию лечил пьянством. Конфедераты составили «двор» красавицы. Радзивилл ел на серебре, Тараканова ела на золоте. Впрочем, когда она отходила ко сну, ключи от спальни ее Радзивилл прятал себе под подушку. Пинский консилярый Михаил Даманский сходил с ума от любви! В лунные ночи он, словно ящерица, взбирался по гладкой стене на третий этаж, чтобы видеть в окне свое божество.

В конце 1773 года слухи о Таракановой стали доходить до берегов Невы. Екатерину встревожила сначала не столько самозванка, сколько то, что она пребывает в окружении барских конфедератов, искавших поддержки своим планам у Версаля и Турции. Императрицу малость успокоило, что Огинский с Виельгорскими вскоре просили у нее прощения, и она вернула им богатейшие латифундии в Литве...

Но Радзивилл с пьяным упорством решил ехать к Порогу Счастья и бить челом перед Абдул-Гамидом, чтобы он помог конфедератам, а заодно и Таракановой.

Из Италии самозванка отплыла в Турцию, жестокая буря выбросила корабль на далматинский берег. Жителям Рагузы совсем не нравилось появление конфедератов, редко трезвых, да еще с претенденткой на русский престол; сенат через посла в Петербурге запросил графа Панина – как быть? Никита Иванович зевнул в ответ: «Вся эта возня недостойна

моего внимания...». Между тем возня в Рагузе становилась опасной. Тараканова просила турецкого султана о покровительстве, писала ему, что ее зовет к себе брат, вынужденный скрываться под именем Пугачева. И так же как Пугачев взывал к мнимому сыну Павлу – в пустоту, так же и Тараканова слышала мнимые призывы от Пугачева – из пустоты! Кучук-Кайнарджийский мир развалил все планы Барской конфедерации. Радзивилл, протрезвев, тоже захотел просить у России прощения, а поражение армии Пугачева на Волге стало для Таракановой настоящим бедствием... Плачущая, она слушала горячие заверения Даманского в любви:

– Моя любовь да будет бессмертна! Уедем в Америку, где нас никто не знает...

Но после князя Лимбурга с его сыром, после Огинского и Радзивилла – что ей этот жалкий пинский консилярый? Все разъехались. Из свиты при ней остались негр, камеристка Мешедде, хорунжий Черномский, эксиезуит Ганецкий, и, конечно же, не покинул ее Даманский... Денег не было даже на то, чтобы выбраться из Рагузы. И вот тогда самозванка вспомнила о русской эскадре, стоявшей в итальянском порту Ливорно.

– Эскадра должна быть моей! – обрадовалась женщина.

Она обратилась к Орлову-Чесменскому не письмом просительницы, а высокомерным манифестом повелительницы: «Божией милостию, Мы, Елизавета Вторая, княжна всея России, объявляем верным подданным нашим... Мы имеем

больше прав на престол, нежели узурпаторы государства, и в скором времени объявим завещание умершей императрицы Елизаветы, нашей матери. Не желающие принять Нам присягу будут Мною наказаны...»

Тараканова отправила это послание и в Петербург – в руки самого графа Никиты Панина. «До последнего дыхания, – писала она, – я буду бороться за права короны и народа!» Вот тогда при дворе Екатерины раздался сигнал тревоги... Из Ливорно царица получила текст подложного завещания Елизаветы, якобы завещавшей русский престол своей дочери от Разумовского – той самой дочери, что сидела сейчас на бобах в Рагузе, не зная, как оттуда выбраться без денег.

– Мы ей поможем... ядрами! – решила императрица.

...

– А какова стерва! – смеялся Алехан, блаженствуя в салоне флагманского «Исидора». – Ведь извещена, подлая, что Орловы от государыни обижены стали. А эскадра моя – такая громыхала, что, ежели ее в Неву завести, от Петербурга головешки останутся.

Тараканова верно учитывала оскорбленное самолюбие братьев Орловых и мощь боевой эскадры, доверенной человеку дерзкому и бесшабашному. Алехан еще раз перечитал приказ. «Сей твари, столь дерзко всклепавшей на себя имя

и породу, употребить угрозы, – диктовала ему Екатерина, – а буде и наказание нужно, то бомбы в город (Рагузу) метать можно, а буде без шума достать (ее) способ есть, то я и на сие соглашаюсь...»

Однако обстреливать с моря Рагузу не пришлось: сам же сенат Рагузы с почтением известил Орлова, что самозванка выехала недавно из города, а куда – неведомо.

Орлов озабоченно сказал адмиралу Грейгу:

– Всю Италию, как худой огород, перекопаем, а бабу эту сыщем. Ее на эскадру завлечь надобно.

– Зачем, граф, нужна она на эскадре?

– Я женюсь на ней, – отвечал Орлов-Чесменский.

3 января 1775 года Тараканова объявилась в Риме.

4. Праздник после казни

А через неделю, 10 января 1775 года, в Москве, на Болоте, казнили Пугачева. Современники сообщают: «Незаметен был страх на лице Пугачева. С большим присутствием духа сидел он на своей скамейке». Пугачев взошел на эшафот, перекрестился и, кланяясь во все стороны, стал прощаться с народом: «...прости, народ православный». Палачи набросились на него, сорвали тулуп, стали рвать кафтан. Пугачев упал навзничь, и «вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе» (А. С. Пушкин). «Превеликим гулом» и «оханьем» ответил народ на эту смерть...

Дворянство жаждало свирепости в приговорах, пытках и казнях... По Волге мимо городов плыли, пропадая в синеве Каспия, страшные плоты с «глаголями», на которых висели полусгнившие тела пугачевцев...

– Теперь можно праздновать, – сказала Екатерина.

Но прежде отъезда в Москву для празднования мира Екатерина решила навести порядок при «малом» дворе. Разговор с сыном она начала с выговора его беспутной жене: обещала изучить русский язык – и ни слова по-русски не знает.

– За такие деньги, какие вы от казны берете, любой дуралей уже завтра бы стал болтать даже по-эскимосски. Впрочем, не ради этого я вас звала. Семейная жизнь, сын мой, сложнее алгебры. Люди злы, а языки длинные. Советую вне-

сти пристойность в отношении жены вашей с графом Андреем Разумовским.

– Наша светлая дружба, – отвечал Павел, – не дает мне никаких оснований для унижительных подозрений.

– Но молодой фронт зажился в ваших апартаментах...

Намек был сделан. Павел целую неделю пребывал в пространии, Natalie почуяла неладное, но муж отмалчивался. Ласковым обращением она все-таки вынудила его рассказать о предупреждении матери... Великая княгиня в бешенстве переколотила все чашки на столе, истерично разрыдалась, крича:

– Я так и знала! Эта старая Мессалина во всем хорошем привыкла видеть только дурное и грязное... Неужели вы сами не догадались, что разговор о графе Андрее она завела с единою целью – чтобы навеки разлучить нас!

Павел не мог видеть слез, он потянулся к ней.

– Не смейте прикасаться ко мне... прочь руки! Ах, зачем я приехала в страну, где я так несчастна! Что я вижу здесь?

Павел на коленях ползал за женою, хватал ее за полы одежд, громко шуршавших, и покрывал их страстными поцелуями:

– Я виноват, что поверил матери... она и меня ненавидит. Умоляю, сжальтесь надо мною. Не отвергайте меня.

Плачущий, он затих на полу – маленький, слабый, ничтожный человек, желающий верить в любовь и благородство, Natalie торжествующе (сверху вниз) смотрела на него,

потом крепко постучала пальцем по темени цесаревича:

– Обещайте, что больше никогда не станете слушаться злой матери, но всегда будете послушны моим добрым советам.

– Да, клянусь.

– Встаньте, ваше высочество. И чтобы впредь я более никогда не слышала от вас подобных глупостей... Вы же сами любите своего верного и лучшего друга – графа Андрея.

– Люблю.

– Вы должны извиниться перед ним.

– Хорошо. Извинюсь.

– Я вас прощаю, – сказала Natalie, удаляясь...

Въезд в Москву состоялся 25 января. Денек был морозный, звонили колокола церковей, каркали вороны на деревьях. Народ встретил Екатерину с таким оскорбительным равнодушием, что она с трудом смирила свою гордыню. Зато Павел вызвал в простом народе бурю ликования; вечером он во главе Кирасирского полка ездил по улицам Москвы, запросто беседуя с людьми, которые целовали его ботфорты и руки в длинных крагах. Андрей Разумовский склонился из седла к уху наследника, прошептав многозначительно:

– Вы любимы этой сволочью! Ах, если бы вы дерзнули...

Он звал его к дворцовому перевороту, чтобы ускорить не его, а свое возвышение, но Павел ответил, что останется покорным сыном своей матери. Опьяненный популярностью в народе, Павел в тот же день вызвал гнев самого фаворита:

– Как шеф Кирасирского полка, я требую, чтобы поденные рапорты в мои же руки и присылали.

– Тому не бывать, – отказал Потемкин. – Я, а не вы, заведу Военной коллегией, и все рапорты будут у меня.

– Но я – наследник престола.

– Так что мне с того? Вы и генерал-адмирал, но ваше высочество и баржи с каторжанами в море не выведете...

Назло фавориту и матери, Павел начал обучать кирасир на прусский лад. С ножницами в руках перекраивал мундиры:

– Фридрих Великий еще снимет передо мною шляпу...

Но опять вмешался Cusloqe-borgne – Потемкин:

– Яко генерал-инспектор кавалерии российской запрещаю вашему высочеству уродовать форму одежд кирасирских...

О боже! Сколько власти у этого кривого!

Москва ожидала героя войны – фельдмаршала Румянцева.

...

Письма от матери Потемкин, как правило, даже не распечатывал, а сразу швырял в камин, говоря при этом:

– Что дура умного написать может? Разве что – кто из сородичей моих помер, так зачем огорчаться скорбию лишней?

Дарья Васильевна Потемкина, в канун казни, вывезла из Смоленщины на Москву осиротевших внучек своих – Энгельгардтов. Необразованные девчонки, плохо одетые, еще

не понимали степени того величия, какого достиг их странный в повадках дядюшка. Не понимала того и госпожа Потемкина, полагая, что сыночек ее возвысился сам по себе, а вовсе не по той причине, на какую завистливые людишки ей намекают.

– Да будет вам пустое-то молоть, – обижалась она в беседах с родственниками. – Нешто за экий вселенский срам ордена да генеральства дают? Чай мой Гриц знатно иным отличился...

При встрече с сыном она строго внушала ему:

– Коли стал государыне нашей мил, тебе в самый раз жениться, и пушай государыня сама невесту приищет... богатыню!

– Дура ты у меня, маменька, – отвечал Потемкин.

Екатерина произвела старуху в статс-дамы, просила принять со своего стола ананас из оранжерей подмосковных.

– Да на што он мне... в колючках весь, быдто кистень разбойничий! Мне бы яблочка моченого или клюковки пососать.

– Дура ты у меня, маменька, – отвечал Потемкин.

Екатерина справила себе платье на манер крестьянского сарафана. Высокий кокошник красиво обрамлял ее голову с жиреющим, но по-прежнему острым подбородком, полную шею украсила нитка жемчуга. Она осуждала моды парижские.

– Онемечены и выбриты, словно пасторы германские. А я

желаю царствовать над истинно русскими и, кажется, совсем обрусела!

Она выразила желание посетить общие бани, чтобы окончательно «слиться» с народом, для чего графиня Прасковья Брюс уже приготовила пахучие веники. Но Потемкин высмеял этих барынь, сказав, что Москва живет еще в патриархальной простоте – мужчины и женщины парятся вместе:

– Стоит ли тебе, Като, быть столь откровенной?

– Не стоит, – согласилась Екатерина и велела Парашке выкинуть веники.

Она тут же сочинила указ, по которому «коммерческие» – общие – мыльни разделялись отныне на мужскую и женскую половины, причем доступ к женщинам разрешался только врачам и живописцам.

– Рисовальщики наши в живой натуре нуждаются, – сказала императрица, – а то в классах Академии художеств они одних мужиков наблюдают...

Потемкин открыто заговорил при дворе, что срочно необходима амнистия всем, кто следовал за Пугачевым.

– Иначе, – доказывал он, – покуда мы тут веселимся с плясками, помещики хлебопашцам все члены повывергивают, а мужиков рады без глаз оставить. Опять же и телесные наказания чинов нижних – их меру надобно уменьшить... Битый солдат всегда плох. Пьяному шесть палок, и хватит с него!

В апреле Екатерина справляла день рождения. Дюран со-

общал в Версаль королю, что императрица «не могла скрыть удивления по поводу того, как мало лиц съехалось в такой день... она сама мне говорила о пустоте на бале в таком тоне, который явно показывает, как она была этим оскорблена!»

Выходит, напрасно кроила сарафан простонародный, напрасно улыбалась публике, зря проявила обширное знание русских пословиц и поговорок, – ее не любили в Москве. «Ну что тут делать?» И на этот раз оригинальной она не оказалась:

– Разрешаю для народа снизить цену на соль...

Когда полицмейстер Архаров выкрикнул эту новость с крыльца перед народом, то «вместо восторженных криков радости, коих ожидала императрица, мещане и горожане, перекрестясь, разошлись молча». Екатерина, стоя у окна, не выдержала и сказала во всеуслышание: «Ну какое же тупоумие!» – так описывали эту сцену дипломаты, все знающие, все оценивающие...

Возле ее престола мучился Павел – ждал денег.

– Деньги для вас были приготовлены. Полсотни тыщ, как вы и просили. Но возникла нужда у графа Григория Потемкина, и деньги ваши я ему вручила...

«Русский Гамлет» от унижения чуть не заплакал!

Потемкину доложили, что его желает видеть Кутузов.

– Кутузов или Голенищев-Кутузов? – спросил он.

– Голенищев...

– Вот так и надобно говорить: большая разница!

Дворян этих разных фамилий было на Руси яко карасей в пруду. Но в кабинет фаворита вошел Михайла Илларионович, старый знакомый по Дунайской армии; прежнего весельчака и шутника было теперь не узнать.

– Что с тобой, Ларионыч? – обомлел Потемкин.

Молодой подполковник в белом мундире с желтыми отворотами, эполеты из серебра, а орден – Георгия четвертой степени. Изуродованное пулей лицо, вместо глаза – повязка. Голенищев-Кутузов сказал, что на охрану Крыма молодняк прислали и, когда турки десантировали под Алуштой, люди дрогнули.

– Пришлось самому знамя развернуть и пойти вперед, дабы примером людей увлечь за собою. Тут меня и шваркнуло...

Он просил отпуск в Европу ради лечения.

– Копии моей отказа ни в чем не будет, – сказал Потемкин.

По его совету Екатерина перечла рапорт о подвиге Михаила Илларионовича: «Сей штаб-офицер получил рану пулей, которая, ударившая его между глазу и виска, вышла на пролет в том же месте на другой стороне лица». Слова Екатерины для истории уцелели: «Кутузова надо беречь – он у меня великим генералом станет!» Она отсыпала для него 1000 золотых червонцев, которые по тогдашнему времени составляли огромную сумму.

– Передай от меня и скажи инвалидному, что тревожить его не станем, покудова как следует не излечится...

Проездом через Берлин увечный воин представился в Сан-Суси прусскому королю. Фридрих просил его подойти ближе к окну, чтобы лучше разглядеть опасную и страшную рану.

– Вы счастливый человек, – сказал король. – У меня в прусской армии с такими ранениями мало кто выживает...

Сейчас король был озабочен делами «малого» двора. Сватая принцессу Гессен-Дармштадтскую за Павла, он рассчитывал, что она, благодарная ему, станет влиять на мужа в прусских интересах «Северного аккорда». Но тут явился красивый нахал Андрей Разумовский и разом спутал королевские карты, соблазняя Natalie политической игрой с Испанией и Францией.

– Кажется, я сваял дурака, – признался король сам себе. – Натализация екатеринизированной России не состоялась... жаль!

По натуре циник, ума практичного, он откровенно радовался слухам о слабом здоровье великой княгини: пусть умрет.

– Ладно. Поедем дальше, – сказал король, не унывая, и надолго приник к флейте, наигрывая пасторальный мотив, а сам думал, как бы выбросить Разумовского с третьего или, лучше, даже с четвертого этажа того здания, которое называется «европейской политикой».

Широко расставленными глазами граф Андрей Разумовский взирал на великую княгиню, и она, жалкая, прикинула к нему:

– Мы так давно не были наедине, а я схожу с ума от тайных желаний... Что делать нам, если эта курносая уродина не отходит от меня ни на шаг, а он мне всегда омерзителен.

– Я что-нибудь придумаю, – обещал ей граф...

За ужином он незаметно подлил в бокал цесаревича опий. Павел через минуту выронил вилку, осунулся в кресле:

– Спать... я... что со мною... друзья...

Разумовский тронул его провисшую руку.

– Готов, – сказал он женщине.

– Какое счастье, – отвечала она любовнику...

Когда Павел очнулся, Natalie с Разумовским по-прежнему сидели за столом. Павел извинился:

– Простите, дорогие друзья, я так устал сегодня, что дремота сморила меня... Скажите, я недолго спал?

– Достаточно, – отвечала ему жена. – Мы провели это время в бесподобном диалоге... Жаль, что вы в нем не участвовали!

5. Тяжелая муха

Прусский король закончил играть на флейте.

– А что подельывает старая карга Мария-Терезия после того, как Румянцев заключил выгодный для русских мир?

– Она часто плачет, – отвечал ему Цегелин.

Фридрих, продув флейту, упрятал ее в футляр.

– Она всегда плачет, обдумывая новое воровство, и нам, бедным пруссакам, кажется, что пришло время беречь карманы...

Фридрих не ошибался: уж если из Вены слышались рыдания императрицы, так и жди – сейчас Мария-Терезия кого-то начнет грабить. Так и случилось! Солдаты императрицы венской каждую ночь незаметно передвигали пограничные столбы, постепенно присоединяя к австрийским владениям Буковину, а дела России сейчас не были таковы, чтобы вступить за буковинцев, издревле родственных народу русскому. Напыщенный девиз венских Габсбургов гласил: «*Austriae est imperare ordi universo*» (назначение Австрии – управлять всем миром). Чтобы укрепить свою кавалерию, Мария-Терезия как раз в это время хотела закупить лошадей в России. Екатерина – в отместку за Буковину! – ответила ей хамской депешей: «Все мои лошади передохли». Фридрих II был солидарен с Петербургом в неприязни к Вене и писал в эти дни, что еще не пришло, к сожалению, время указать

Римской империи ее подлинное место. В истории с захватом Буковины отчасти был повинен и Никита Панин: поглощенный придворными интригами, он уже не успевал вникать в козни политиков Европы, не предупреждал событий.

Екатерина в какой уже раз жаловалась Потемкину:

– Панин совсем стал плох! Даже о том, что творится в Рагузе и Ливорно, я узнаю со стороны...

– Так что там в Ливорно? – спросил Потемкин.

...

Английский посол в Неаполе, сэр Вильям Гамильтон, славный знаток искусств (а позже и обладатель жены, покорившей адмирала Нельсона), уведомил Орлова-Чесменского о том, что искомая персона, под именем графини Пинненберг, просила у него 7000 цехинов и новый паспорт на имя г-жи Вальмонд для проживания в священном городе. Установлено: самозванка остановилась в Риме, в отеле на Марсовом поле, ищет связей с папской курией и пьет ослиное молоко, дабы избавиться от склонности к чахотке... Все стало ясно.

– За дело! – решил граф Алексей Григорьевич.

Он вызвал к себе в каюту испанца де Рибаса:

– Осип, чин капитана желателен ли тебе?

– О, *dio* (о, боже)! – воскликнул тот, радуясь.

И тут же получил тумака по шее:

– Убирайся с эскадры и езжай в Рим...

Де Рибас с трудом поднялся с ковра, ощупал шею:

– За что такая немилость от вашей милости?

Орлов открыл ящик в столе, сплошь засыпанный золотом.

– Бери, – сказал, – полной лапой.

– А сколько брать?

– Сколько хочешь. И слушай меня внимательно...

...Все последние деньги Тараканова вложила в обстановку своей комнаты, придав ей деловой вид. Умышленно (но вроде бы нечаянно) поверх раскрытой книги она бросила янтарные четки; на рабочем столе, подле шляпы для верховой езды, положила прекрасную (но фальшивую) диадему. Самозванка соблазняла теперь курию, принимая каноников и прелатов, будущих кардиналов; при этом в кабинет как бы случайно входил иезуит Ганецкий, кланяясь низко, приносил бумаги с печатями.

– Ваше величество, – титуловал он ее, – извольте прочесть письмо от султана турецкого. Кстати, через барона Кнорре получена депеша от прусского короля Фридриха Великого.

– Я занята сейчас. Прочту потом. Не мешайте...

Тараканова теперь именем «сестры Пугачева» не бравировала, а папскую курию смущала клятвами: по восшествии на престол православная церковь России вступит в унию с католической. Прелаты внимали самозванке с благоговением, но ни в папский конклав, которому она хотела представиться, ни в свои кошельки, куда она хотела бы запустить лапку, прелаты ее не допускали.

– Мои войска, – утверждала она с большой убежденностью в голосе и жестах, – стоят лишь в сорока лье от Киева, и скоро я буду там сама. А русский флот, зимующий в Ливорно, уже готов услужить мне...

Ее подвел слуга-негр: на улице возле отеля он стал требовать жалованье за год, иначе – отказывался служить. Тараканова, бдительная после гибели Пугачева, была крайне удивлена, когда некий господин цветущего вида на глазах жадной до скандалов публики сам расплатился с негром, после чего развязно шепнул самозванке:

– А не вы ли писали на эскадру в Ливорно?..

Тараканова затаилась. Через узкие щели оконных жалюзи она несколько дней подряд наблюдала, как этот красивый незнакомец блуждает под окнами отеля. Ожидание острой новизны сделалось нестерпимо, и наконец женщина повелела Даманскому:

– Проверь, заряжены ли мои пистолеты, и пригласи этого человека с улицы ко мне... Да, это я писала в Ливорно! – сказала Тараканова входившему де Рибасу.

Размахнувшись, он далеко и метко бросил через всю комнату кiset, с тяжелым стуком упавший на стол, и Тараканова догадалась о его содержимом – золото!

– Изящнейший граф Чесменский, – сказал де Рибас, – приносит извинения за скромность своего первого дара...

– Что вам угодно от меня, синьор?

– Лишь поступить к вам в услужение.

– Разве вы не офицер русской эскадры из Ливорно?

– Я был им. Но ушел в отставку, не в силах выносить терзаний моего славного адмирала... Его благородная душа жаждет отмщения этой коварной женщине, которая отвергла Орловых от двора, а их брата Григория содержит в подземельях ужасного Гатчинского замка. Если б вы могли видеть, какими слезами мой адмирал орошал ваше письмо, в котором вы дали понять, что нуждаетесь в его возвышенном покровительстве.

– Поверьте, – отвечала Тараканова, – нет такого женского сердца, которое бы не дрогнуло при имени чесменского героя. Мои чувства к нему не внезапны: я давно испытываю их, всегда извещенная о его щедрости и благородстве.

– Пусть скромные золотые цехины от адмирала станут золотом ваших будущих приятностей в жизни.

– А как здоровье моего адмирала?

– Ужасно! Сейчас он снял в Пизе двухэтажный отель Нерви, где в одиночестве и молитвах проводит свои тяжкие дни. Конечно, Орлов не смеет и надеяться, что вы удостоите его сиятельство своим посещением. Но... все-таки.

– Я подумаю, – сказала в ответ Тараканова.

Грандиозная эскадра России с пушками и бомбами – это ли еще не подарок судьбы? Де Рибас вкрадчиво спросил ее:

– Нас никто не слышит?

– Мы одни. В этом будьте уверены.

– Тогда я сообщу вам главное: стоит вам появиться в Ли-

ворно, и вся эскадра принесет вам присягу на верность – как императрице Елизавете Второй... Но сначала – Пиза?

– Пожалуй, – согласилась женщина. – В Риме я чувствую себя неважно от сухости воздуха, а в Пизе климат лучше.

Золото лежало на столе – доступное! Ганецкий доложил, что у отеля топчется, желая войти, кардинал Альбани.

Тараканова гордо тряхнула головой:

– Передайте кардиналу, что в помощи священного престола я более не нуждаюсь...

Альбани пытался удержать ее в Риме, говорил:

– Вы начинаете игру с огнем.

– И с огнем, и с водою, – отвечала Тараканова со смехом. Теперь она именовала себя графиней Зелинской.

...

15 февраля в Пизе ее ожидала торжественная встреча: перед отелем Нерви офицеры салютовали шпагами, почетный караул с эскадры отдал самозванке почести, как царственной особе. Таракановой было приятно встретить здесь и де Рибаса.

– А вы уже в чине капитана? – спросила она.

– Благодаря служению вам, – отвечал пройдоха.

В дар Орлову она преподнесла мраморный барельеф со своим профилем. Алехан действовал напористо, а Тараканова, излишне чувственная, легко отдалась ему, о чем граф

сразу же оповестил императрицу: «Признаюсь, что я оное дело исполнил с возможной охотою, лишь бы угодить вашему величеству». Не династию Романовых спасал он от покушений самозванки – себя спасал, карьеру свою, благополучие всего клана Орловых. Он даже предложил самозванке свою руку и сердце. «Но она сказала мне, – сообщал Алехан в столицу, – что теперь не время, ибо она еще несчастлива, а когда окажется на своем месте (читай – на троне), тогда и меня осчастливит...»

В конце февраля Орлов сказал, что следует показаться на эскадре, дабы подготовить экипажи кораблей к присяге. Ранним утром они выехали в Ливорно, в отеле Нерви остался де Рибас, бумаги самозванки были упакованы им в плотные тюки – для отправки в Россию. Из кареты Тараканова пересела в шлюпку, украшенную коврами и шальями из индийского муслина. Под звуки оркестра с палубы «Ростислава» спустили кресло, обтянутое розовым бархатом, Тараканова уселась в нем, словно царица, и матросы, щелкая босыми пятками по тиковой палубе, с неприличными припевками подняли ее на палубу.

– Урра... урррра-а! – перекатывалось над рейдом.

Пушки извергли мощную салютацию – в ее честь.

– Теперь вы уже дома, – объявил Алехан Орлов...

Ветер радостно наполнил паруса. Вот и Лигурийское море.

– А что виднеется там... слева? – спросила женщина.

– Корсика, – скупно отвечал Самуил Карлович Грейг...

Тараканова обнаружила, что Орлов куда-то исчез. К ней подошел караул гвардии с капитаном Литвиновым.

– А где же адмирал? Позовите сюда Чесменского.

– Орлов, яко заговорщик, арестован и предстанет перед судом.

Тараканова требовала хотя бы де Рибаса.

– А сей изменщик, – отвечал ей, – уже повешен... Повинуйтесь!

Мимо Гибралтара она проплыла почти равнодушно, казалась даже веселой и много пела по-итальянски. Но, увидев берега Англии, ей знакомые, хотела броситься в море. Ее удержали матросы. Тут женщина поняла, что ждет ее впереди, и надолго потеряла сознание. Холодные ветры нелюдимо гудели в парусах, чужое море неласково стелилось под килями громоздких кораблей. 22 мая эскадра Грейга бросила якоря. Тараканову вывели на палубу, отстранив от нее камеристку Мешеду и верного Даманского. Она зябко вздрагивала, кашляла.

Увидев на берегу строение, Тараканова спросила:

– Как называется эта ужасная крепость?

– Кронштадт, – отвечали ей.

Ночью пришла галера, доставившая ее в Петербург – прямо в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. В растерянности женщина оглядела страшные, молчаливые стены.

– O dio... – простонала она.

В камеру вошел генерал, сказавший по-русски:

– Не пугайтесь! Я фельдмаршал и здешних мест губернатор, князь Александр Михайлович Голицын, мне поручено допросить вас... Первый вопрос самый легкий – кто вы такая?

Увы, ни слова по-русски Тараканова не знала. Ее тонкую и нежную шею украшал странный кулон – на белой эмали черный ворон, оправленный в золото. Женщина в яростном гневе сорвала с себя этот кулон и зашвырнула его в угол:

– О, карамба! О, какое гнусное коварство!

...

В перерыве между танцами Екатерина воскликнула:

– Ради одной паршивой мухи потребно стало гонять во-круг Европы целую эскадру – с адмиралом Грейгом во главе!

– Тяжелая попалась нам муха, – согласился Потемкин.

6. Продолжение праздника

Едва подсохли подмосковные дороги, Екатерина с Потемкиным удалилась в село Коломенское, ища покоя и уединения. Москва-река текла под окнами, скользили лодки под парусами, было очень тихо, лошади переплывали реку на другой берег, там горел одинокий костер пастушонка. На зеленых лугах расцветали ромашки, а далеко-далеко уже зачернели полосы свежевспаханной землицы-кормилицы... Хорошо тут было, хорошо!

Ночью, пугая императрицу, Потемкин угукал филином, зловеще и бедово, как леший. А под утро сказал:

– В лесу родился, из лесу в люди вышел, и в лес тянет... Хочешь, я сейчас всех куриц в округе разбужу?

Потемкин запел в окно петухом, да так задиристо, так голосисто и радостно, что поверили даже все петухи из деревень и откликнулись на его боевой призыв. Лакеи еще спали, туман слоился над рекою, едва открывая росные берега. Любовники спустились во двор. Екатерина разулась, босая шла по мокрой и холодной траве. Остановилась сама и велела ему остановиться. Взяв Потемкина за руку, приложила его ладонь к своему животу:

– Тут последний мой... от тебя, тоже последнего!

...

Павлу шел уже тридцатый год. Алексею, рожденному от Орлова, исполнилось тринадцать лет, и только теперь Екатерина присвоила ему фамилию Бобринский. Потемкин спрашивал ее:

– А наше отродье какой фамилии будет?

– Не Романово же... У тебя, друг мой ласковый, переднее «По» отрубим, останется «Темкин»...

Москва наполнилась слухами, будто Потемкин желает увести императрицу под венец. В церкви на Пречистенке он каялся в грехах, кормил свое «сиятельство» грибками и рыбками, постничая праведно. Однажды из кабинета царицы слышали его голос:

– А если не по-моему, так я и в монастырь уйду...

Плохой сын, он оказался хорошим дядей, все чаще появляясь с выводком племянниц Энгельгардтовых. Одна лишь Танюшка была еще девчонкою, а сестры ее уже взрослые барышни, и, когда они, приодетые дядюшкой, явились во дворец на Волхонке, женихи московские света божьего не взвидели. И впрямь хороши были они, собранные в один букет с пахучих полян Смоленщины, с детства сытые огурцами да пенками, медами да морковками. Только Наденьку фаворит звал «Надеждою без надежды», ибо, не в пример сестрицам, лицом была неказиста. Попав же в придворное общество, деревенские барышни поначалу смущались, слова сказать не могли и просили его:

– Дядюшка, отпусти нас в деревню, а? Скоро, гляди-ко, и ягоды поспеют, девки хороводы водить станут...

В один из вечеров фаворит читал при свечах очередной том Бюффона. Сквозняк от дверей задул свечи. Незнакомый офицер с порога нижайше его сиятельству кланялся.

– Ты кто таков? – спросил его Потемкин.

– Поручик гвардии Петр Шепелев, честь имею.

– Чего тебе от меня... честно-то?

– Руки прошу племянницы вашей.

– Какой? У меня их много.

– Любую беру. Хоть и Надежду без надежды.

Потемкин колокольцем позвал дежурного офицера:

– Жениха сего под арест... за дерзость!

Румянцев прикатил в Москву за два дня до триумфа своего – со штабом, с канцелярией походной. Петр Александрович, не желая враждовать с Потемкиным, представил его к ордену Георгия первой степени, но фаворит скромно отказался:

– Не достоин! Вторую степень, ладно, приму. Но и ты уступи мне, матушка-государыня: Саньке Энгельгардтовой, старшей моей, дай шифр фрейлинский: пора девке в свете бывать...

10 июля вся Москва, от мала до велика, устремилась на Ходынское поле, которое символически изображало Черное море, текли там реки – Дон, Днепр, Дунай, было много расставлено макетов крепостей, отвоеванных у турок, иллюми-

нация выражала радость наступившего мира, берега обставились павильонами, в которых разливали дармовое вино... Екатерина велела:

– Так наклоним же рог изобилия над победителем!

Глашатаи возвестили народу о наградах Румянцеву:

– Наименование графа Задунайского, жезл фельдмаршала с бриллиантами, шпага с камнями драгоценными, шляпа с венком лавровым, ветвь масличная с алмазами, звезда орденская в бриллиантах, медаль с портретом его (ради поощрения в потомстве), имение в пять тысяч душ – для увеселения душевного, сто тысяч рублей из Кабинета – для строительства дома, сервиз из серебра на сорок персон и картины из собрания эрмитажного, какие сам пожелает, – ради украшения дома своего...

Вереница карет покатила в имение героя, названное теперь новым именем «Кайнарджи»: там, среди богатых оранжерей и зеркальных прудов, под сенью старинных дедовских вязов, Румянцев-Задунайский принимал гостей, для которых были накрыты столы в трофейных турецких шатрах, колыхавшихся на ветру шелками – голубыми, желтыми, красными.

Румянцев был мрачен. Потемкин тоже не веселился.

– Что мы, князь, с тобою будто на похоронах?

– Да, невеселы дела наши... Девлет-Гирей опять принял в подмогу себе десант турецкий, а на Кубани смутно стало.

– Сам знаю: война грядет. Страшная! – сказал Румян-

цев. – Князь Василий Долгорукий-Крымский, Алехан Орлов-Чесменский, я, слава богу, Задунайский стал, вакантное место – Забалканского... Эту титулу недостижимую тебе и желаю!

– И без того расцвел, аки жезл Ааронов...

Вскоре пришло письмо из столицы от фельдмаршала князя Голицына, допрашивавшего Тараканову. «Из ея слов и поступков, – прочел в депеше Потемкин, – видно, что это страстная, горячая натура, одаренная быстрым умом, она имеет много сведений».

– Сущая злодейка! – сказала Екатерина. – Но я уже согласна отпустить ее на все четыре стороны, если она откроет свое подлинное имя и честно признает – **кто она**.

Тараканова писала Екатерине, умоляя о личном свидании и чтобы убрали из камеры офицера с солдатом, кои при ней безотлучно находятся, а она ведь женщина, и ей очень стыдно. Екатерина отвечала – через Голицына: «Объявите развратнице, что я никогда не приму ее, ибо мне известны ее безнравственные и преступные замыслы...»

Она просила Потемкина поспешить с делами запорожскими, боялась новых возмущений народа.

– Один лишь Яик с Пугачевым, – говорила Екатерина, – чего нам стоил, а по окраинам еще сколько развелось войск: донское, волжское, гребенское, терское... Вся голытьба российской свободы да безделья в казачестве алчет! Петра Калнышевского, атамана Запорожского, я в Соловки сошлю...

...

Грицко Нечёса не забыл гостевания в запорожском стане, когда ходил там, небритый и лохматый,пил горилку по куреням, заедая ее вкусной саламатой. И виделись звезды украинские, белые хутора под лунным сиянием, снова, казалось, чуял он поступь лошадей в теплой духоте ночи. Сам был волен: «Пугу-пугу – едет казак с лугу!»

Польское панство уж на что люто ненавидело запорожцев, но и то признавало: «Турция веками пасть разевала на Киевщину, Волынь да Подолию... где вы, москали, были? Одни лишь запорожцы храбро клали руку в эту пасть, выламывая зубы и султанам, и ханам крымским...» Вольность казачья в поговорку вошла, а бунты казачьи вошли в историю. Москва, потом Петербург всегда учитывали опасность, какую несла эта вольность, паче того, казака в голом-то поле голыми руками не словишь... Кучук-Кайнарджийский мир закрепил новые границы, уже на берегах черноморских, и Сечь Запорожская, оказавшись внутри Украины, прежнее значение форпоста потеряла.

Румянцев грубо, но справедливо доказывал:

– Волдырь посередь Украины! Живут в Сечи своей, все в холостом состоянии, в брачное же силком не затащишь. А когда список поименный у них требуешь, они огрызаются: мол, сколько их – не упомянут, а считать по головам – не ба-

раны же...

Потемкин вникал в запорожские неустройства с опаскою. Тронь их – так куда они побегут? Не к султану ль турецкому, не в мамелюки ль?

Но Румянцев тоже был прав: внутри спаянного государства, в котором украинцы и русские все крепче сжимались в единую братскую семью, разлагалось автономное устройство, дикое, неуправляемое. Потемкин говорил Екатерине, что не желает проливать кровь запорожскую, сам в Сечи жил:

– И нужды казачьи мне ведомы. А что делать?

– Вот и делай как знаешь... Но – истреби!

Разгромить Сечь удалось без крови и выстрелов. Многие запорожцы рыбу ловили, гостили на хуторах «гнездюков» (женатых казаков), пушкари дремали в тени лафетов. Запорожцев попросту разогнали, как сброд, а все реликвии их (бунчуки там, булавы гетманские и прочее) свалили на возы и увезли. Горланили, конечно, чубатые много. Но куреня их сгорели, укрепления их рассыпались – куда денешься? Сообща решили слать депутатов.

Екатерина дала запорожцам последнюю аудиенцию, повелев им жениться, на что чубатые отвечали ей честно: «Женатый чоловік для нас – хуже пса бродячего!» Кошевые да куренные получили от нее чины офицерские. А другие ушли – пропадать в степях да разбойничать. Но много казаков покинуло родину: они перешли Дунай, били челом султану ту-

рецкому. Там, за Дунаем, и возникла новая Сечь – Сечь Задунайская.

– Нажили мы себе мамелюков, – ворчал Потемкин. – Ну да пусть потешатся, все равно внуками из-за Дуная вернутся...

Петр Калнышевский, последний атаман Сечи, был навеки заточен в монастырь Соловецкий, где и скончался в возрасте 112 лет. Могила последнего запорожца ныне охраняется государством. Но была еще одна могила тех времен, которую неслышно затоптало безжалостное время. Ровно через полвека декабристы, заточенные в Петропавловской крепости, с трудом разберут на стене каземата выцарапанное обращение к милости божией: «O dio...» – и все!

...

Допрос самозванки Голицын вел по-французски, а листы допросные женщина подписывала именем «Елизавета», что особенно бесило императрицу. Уже поднаторевшая в политических процессах, Екатерина с пристрастием руководила из Москвы следствием, указывая в Петербург – Голицыну, как создавать «ловушки» из слов, дабы принудить самозванку к раскаянию... Борьба была слишком неравной: противу беззащитной больной женщины, запутавшейся в своих фантазиях, воедино сплотились «герой Хотина», слезам не верящий, и житейски опытная императрица, верящая только

фактам. Только фактам! О монолиты стен Алексеевского равелина безжалостно разбивались хрупкие иллюзии и сказочные вымыслы, в тишине казематов угасали молитвы и жалобы. На защиту самозванки храбро выступил один лишь консилярый – Михаил Даманский.

– Я страстно люблю эту женщину, которую стоит и пожалеть, – говорил он князю Голицыну. – Я согласен вывести ее отсюда в одной рубашке и на руках пронести через всю Европу.

Голицын злым человеком никогда не был:

– Я отпущу вас... без нее.

– Без нее лучше пусть я здесь и умру.

– Вы были ее любовником?

– Никогда. Я только любил.

– Скажите – кто она такая?

– Если об этом не знает она сама, могу ли знать я?..

Следствие зашло в тупик. Тараканова убеждала фельд-маршала, что в голове у нее давно сложился забавный проект торговли с Персией, что князь Лимбург мечтает о продаже сыра в Россию и сейчас ждет ее как муж, а к дому Романовых она, упаси бог, себя причислять и не думала:

– Подобная ересь могла возникнуть только в голове Радзивилла, вечно пьяного враля и хвастунишки...

Все писанное своей рукой, все манифесты и завещание Елизаветы самозванка объявила копиями с чужих бумаг, которые ей кто-то прислал. Она кашляла кровью. Голицын пе-

ревел узницу из равелина в помещение коменданта крепости. В самый неожиданный момент князь Голицын вдруг заговорил с ней на польском языке. Увы, она едва его понимала.

– Хорошо, – сдался Александр Михайлович, – тогда вот вам бумага. Своей рукой начертайте любую фразу на персидском, ибо не знать вы не можете, благо вы там долго жили; в Персии, по вашим же словам, осталось и ваше великое состояние.

Тараканова легко начертала странные кабалистические знаки. Голицын велел отнести написанное в Академию наук; ответ ориенталистов пришел незамедлительно:

– Ни в персидском, ни в арабском, ни в каких других языках подобных фигураций не существует...

– Ваши ученые просто невежды, – сказала самозванка.

Коменданту крепости Голицын жаловался:

– Штурмовать Хотин, в крови по колено, куда как легче было, нежели дело сие волочь на себе...

И уж совсем стало невмоготу старому воину, когда врач выяснил, что Тараканова должна стать матерью:

– У беременной еще и легочная апостема...

Отец известен – Алексей Орлов! Но что случится ранее – родит она или умрет? Фельдмаршал иногда даже хотел спасти ее, как отец спасает заблудшую дочь. Напрасно он доказывал ей – даже ласково:

– Вы еще молоды, дитя мое. За этими стенами – свобо-

да, солнце, пение птиц, сама жизнь! А вы хотите умереть непременно в ранге принцессы, нежели покинуть этот каземат обычной плутовкой, но без высокого титула. Вы придумали себе знатное происхождение, с которым теперь вам страшно расставаться. Однако, – говорил Голицын, – нет ничего зазорного в том состоянии, в каком человек родился... Наш генерал Михельсон, победитель Пугачева, тоже причислял себя к древнему шотландскому роду. А недавно, будучи сильно пьян, сознался, что его отец – столяр с острова Эзель. Однако решпекта своего при дворе императрицы сын столяра не потерял...

Тараканова молчала. Голицын депешировал Екатерине: «Я использовал все средства... никакие изобличения, никакие доводы не заставили ее одуматься!» Помощь пришла с неожиданной стороны. Посол короля Георга III сообщил Екатерине, что, по сведениям, которыми располагает Лондон, самозванка – дочь еврейского трактирщика из Праги. «Впрочем, – добавил посол, – ее отцом может быть и булочник из Нюрнберга...» Голицын, заранее торжествуя, вошел в камеру к Таракановой и сказал, что теперь-то он знает о ней все. При этих словах глаза Таракановой осветились новым блеском. Женщина напряглась. Но, выслушав английскую версию, рассмеялась:

– Дочь трактирщика? Или булочника? О-о, нет...

Струйка крови сбежала из ее рта на ворот сорочки.

7. Поединки

Ассигнации вошли в быт страны, появились уже и фальшивые деньги из бумаги (что каралось ссылкой в Сибирь). Директором Ассигнационного банка был граф Андрей Петрович Шувалов – щеголь, с ног до головы осыпанный бриллиантами.

– Друг мой, – сказала ему Екатерина, – Швеция сама по себе нам неопасна. Но она станет очень опасна, ежели политику свою будет сочетать с турецкой и версальской. Ныне король Густав выехал в Финляндию и меня туда завлекает, чтобы я анекдоты его выслушивала. Я занята Москвой, вместо меня ты и поезжай до Стокгольма: вырази королю мои родственные чувства...

Андрей Шувалов сочинял стихи на французском языке, он был корректором переписки императрицы с Дидро и Вольтером. Баловень судьбы был обескуражен, когда Густав III, одетый в худенький мундирчик, принял его, аристократа, на молочной ферме. За стенкою павильона мычали коровы, а баба-молочница наклонила ведро над графскою кружкой, грубо спрашивая:

– Тебе, русский, добавить сливок или хватит?..

Екатерина в небрежении к своему посланцу видела нечто большее, и шведскому послу Нолькену от нее досталось.

– Я не стану щеголять перед вами остротами, – сказала

она. – Но если брату моему, королю вашему, пришла охота пощипать меня за хвост со стороны нордической, то я с любой стороны света в долгу не останусь...

Над Москвою-рекою медленно сочился рассвет.

– Гриша, давай убежим, – вдруг сказала императрица.

– Куда? – сонно спросил Потемкин, уютно прикинувшись щекой к ее плечу.

– Все равно куда. Утром моего «величества» хватятся, а меня и след простыл. Я ведь, Гриша, озорная бываю. Иногда, чтобы лакеев напугать, под стол прячусь.

Над нею теплилась лампадка иконы «Великомученица Екатерина», фаворит лежал под образом «Григорий Просветитель».

– Скажи, Катя, кроме меня, никого боле не будет?

Она перебирала в пальцах его нежные кудри:

– Последний ты... верь! А какой туман над полянами. Слышишь, и лягушки квакают. Чем тебе не волшебный Гайдн?

– Сравнила ты, глупая, Гайдна с лягушками.

– Ах, по мне, любая музыка – шум, и ничего более. А вот Елизавета концерты лягушачьи слушала. На этом же берегу в Коломенском слезами умывалась. До того уж ей, бедной, симфонии эти нравились... Утешься, – сказала она фавориту. – Куда ж я от тебя денусь? А что глядишь так? Или морщины мои считаешь? Да, стара стала. Куда ж мне, старой, бежать от любви твоей ненасытной? От добра добра не ищут...

Утром они принимались за дела. Потемкин погружался в историю Крымского ханства, Екатерина набрасывала проект «Учреждение о губерниях». Дворянская оппозиция никогда ее не страшила. Но усилением власти дворянской провинции хотела она предупредить новую «пугачевщину». Здесь, в тиши древних хором, женщина завела речь о том, что от власти в уездной России остался лишь жалкий призрак:

– Откуда я знаю, что накуролесит завтра в Самаре воевода Половцев, какие черти бродят в башке губернатора казанского?

Потемкин напомнил ей поговорку: ждать третьего указа! Первый указ мимо глаз, второй мимо ушей, и лишь третий побуждал провинцию к исполнению.

– Так и получается, – согласилась Екатерина. – Думаю, что провинциям следует дать власти более. Я думаю, и ты думай!

В августе она по-хорошему простилась с графом Дюраном, ей представился новый посол маркиз Жюинье, в свите которого императрица выделила черноглазого атташе Корберона. Екатерина спросила Жюинье:

– Вы здесь недавно, маркиз, каковы впечатления?

– Признаюсь, страшновато жить в стране, где каждую ночь происходит ужасное убийство, о котором по утрам возвещают жителей истошным воплем: «Horrible assassinat!»

– Если перевести этот вопль с французского на русский, – расхохоталась Екатерина, – то «ужасное убийство» обернется просто «рыбой лосося», о чем и оповещают жителей

разносчики-торговцы... А что скажете вы, Корберон?

– Когда я засыпаю под звуки роговых оркестров, я невольно вспоминаю игру савояров на улицах Парижа.

– Да, музыки у нас много, – согласилась императрица. – Никто на скуку не жалуется. Кашу все едят с маслом. В садах от обилия плодов ломаются ветви. Оранжереи зимой и летом производят тропические фрукты. На каждом лугу пасутся стада. А реки кишат рыбой и раками. Но довольства нет... Люди так дурно устроены, что угодить им трудно. Даже в райские времена счастливых не будет. И как бы я ни старалась, по углам все равно шуршать памфлетами станут: тому не так, другому не эдак...

Корберон поинтересовался мнением посла о царице.

– Гениальная актриса! – отвечал ему Жюинье...

Вечером при дворе танцевали. Корберон записал в дневнике: «Турецкую кадрили открыли императрица с Потемкиным; усталость и вожделение на их пресыщенных лицах...»

...

Прусский посол граф Сольмс информировал короля, что великая княгиня Natalie, большая охотница до танцев, на этом балу отсутствовала: «Болезнь ее не из тех, о которых говорят открыто. У нее тошнота, отвращение к пище, что служит признаком беременности...» Фридрих поразмыслил.

– Генрих! – позвал он своего брата. – Не пора ли тебе сно-

ва навестить Петербург, чтобы застать там самый смешной момент придворной истории русского царства...

Екатерина при встрече с невесткой ощутила брезгливость.

– Пфуй! – сказала она с отвращением. – Я прежде как следует изучила русский язык, а уж потом брюхатела...

Вскоре лейб-медик Роджерсон доложил императрице, что Natalie имеет неправильное сложение фигуры.

– Не это ли сложение костей сделало из нее невыносимую гордячку, которая не способна даже поклониться как следует?

– Возможно, – отвечал Роджерсон.

Екатерина с безразличным видом тасовала карты.

– «Ирод» подсунул нам завалящий товар, – сказала она...

Глядя на свою «несгибаемую» супругу, Павел тоже разучился кланяться, приветствуя людей не кивком головы, а, напротив, – запрокидывая голову назад, так что виделись его широкие ноздри, дышащие гневом. Он уговаривал Потемкина, чтобы Андрею Разумовскому дали чин генерал-майора, и Потемкин дал:

– Но об этом прежде вас просила его сестрица Наталья Кирилловна...

В это время, на свою же беду, при дворе появился князь Петр Голицын, прославленный сражением с Пугачевым. Молодой генерал был скромн, образован, женат, имел детей. Голицын был очень хорош собой, и Екатерина однажды, не удержавшись, при всех выразила свое восхищение:

– А каков князь Петр! Прямо куколка...

Громыкнул стул, резко отодвинутый: это удалился фаворит. Придворные сразу же начали шептаться:

– Вот и конец Голиафу сему... теперь перемены будут. Ну и пушай князь Петр, не все одноглазому лакомиться...

Потемкин велел заложить лошадей. В кривизне переулков обнаружил он сладкое прибежище своей юности – домишко, где когда-то проживал коломенский выжига Матвей Жуляков.

– Стой, – велел кучеру и остался здесь.

С выжигой он расцеловался в губы, они поплакали.

– Эх, Гришка-студент! Величать-то тебя ныне как?

– Без величанья хорош. Эвон, вижу бочку-то старую... Зачерпни-ка, друг сердешный, как в былые хорошие времена, капустки кисленькой. Вина ставь. Говорить станем...

Одряхлел выжига, но водку глотал исправно. Однако он шибко печалился, что вконец обнищал:

– Сейчас не как раньше. Тогда и баре щедрее были. Мундиров да кафтанов с покойников своих не жалели. Принесут мне: на, жарь! Я и жарю в свое довольство. А теперь, Гришка, сами норовят позолоту содрать, чтобы другой не поживился...

Потемкин смахнул с головы парик, сказал:

– Матяша, верь, и дал бы... да с чего? По семьдесят пять тыщ в год из казны забираю. А долгов уже на двести тыщ наскреб... Вот и считай сам: где тут деньгам быть? Да что

деньги – вздор, а люди – все... Чего рот-то открыл? Подцепи-ка еще капустки из бочки.

Они выпили. Громко жевали капусту.

– Жарь духовку свою, – велел Потемкин.

Он сбросил с плеч тяжелый кафтан, обшитый золотом. Оторвал с нагрудья бриллиантовые пуговицы, даренные Екатериной. Швырнул одежду поверх железа, докрасна раскаленного.

– Жги! Чего там жалеть-то? Все дерьмо...

Смрад пошел по лачуге – хоть беги.

– Будто не кафтан, а меня жарят... Наливай!

Золото и бриллианты горкой лежали на столе – промеж бутылок да мисок с капустой, пересыпанной клюковкой.

– Бери все, – сказал Потемкин другу младости.

– Гришка, да ведь спьяна ты... одумайся!

– Твое... забирай, – отвечал фаворит.

Вернулся в карету – пьян-распьян, хватался ручищами за доски заборов, весь черный от копоти, напугал кучера:

– Эко вас, хосподи! Ваш сясь, никак пограбили?

– Должок другу вернул... езжай, не вырони меня.

Утром, когда пробудился, Москва гудела, встревоженная. На рассвете дрались на шпагах князь Голицын и Петр Шепелев, который коварным выпадом и заколол «куколку» на смерть.

Убийца не замедлил навестить Потемкина.

– Ваше сиятельство, – сказал Шепелев с подобострасти-

ем, – не токмо я, но и персоны важные приметили, что внимание особы, нам близкой, к петуху сему неприятно вам было. За услугу, мною оказанную, извольте руку племянницы вашенькой...

Григорий Александрович спустил его с лестницы:

– Убирайся, скнипа! Иначе велю собаками разорвать...

Панин позвал его к ужину, где были и послы иноземные. Оглядев их, Никита Иванович сказал, табакеркой играя:

– Из Америки слухи военные: англичане тамошние расхотели быть королевскими. Чую, вскорости Петербург обзаведется новым посланником – заокеанским. А эти фермеры, я слыхивал, чай лакают с блюдечек, по углам через палец сморкаются...

Корберон в тот вечер записал: «У гр. Панина была княг. Дашкова... она не терпит нас, французов, зато исполнена любви к англичанам. Скоро она отъезжает в Ирландию, где и останется с сыном, воспитание которого поручает знаменитому философу Юму». Потемкин спросил у посла Англии:

– Так ли уж плохи дела в Америке?

– Об этом предмете мой король подробно извещает императрицу вашу, прося предоставить ему для войны в Америке русскую армию, кстати освободившуюся после войны с турками. Георг Третий обещает платить Екатерине золотыми гинеями.

– Вам, милорд, – обозлился Потемкин, – не хватит Голконды в Индии, чтобы за кровь русских солдат расплатиться!

...

Дашкова вскорости отъехала в Европу, увозя с собою дочь, бывшую женой пожилого бригадира Щербинина, и холостого сына, которому внушала по дороге: «Я дам вам самое лучшее воспитание – англиское, чтобы благородству ваших поступков и мыслей все в России завидовали». О, горькое заблуждение материнского сердца! Екатерина в этом случае рассуждала более здраво и Никите Панину сказала напрямик:

– Ваша племянница укатила, и черт с ней! Ни с кем она не уживется. Вот увидите, дети княгини Дашковой станут еще злейшими врагами своей тщеславной матери...

В поединке с самозванкой Екатерина понесла поражение. Теперь ей еще более хотелось знать – кто же она такая? Фельдмаршал Голицын, получив от императрицы новые инструкции, навестил в камере Даманского.

– Государыня велела мне объявить, что она не враг вашему счастью. Вам предоставлено право свободы. Вы можете венчаться согласно обычаям любой веры. Казна России берет на себя все свадебные расходы, и вы получите богатое приданое от нашей императрицы.

– О, как она милосердна! – воскликнул Даманский.

– Не спешите, – притушил его радость Голицын. – Вы должны пройти к своей госпоже, и пусть она честно призна-

ется перед вами, кто она такая, откуда родом и прочее.

Даманский беседовал с Таракановой по-итальянски: через дверь было слышно, как она плачет, упрекая его в чем-то, потом громко вскрикнула – и Даманский выскочил из камеры:

– Она утверждает, что сказала вам правду.

– Так кто же она такая? – рассвирепел Голицын.

– Дочь покойной Елизаветы и Разумовского...

Тараканова просила священника православного, но со знанием немецкого языка. Такого ей представили. Перед ним она каялась во многих грехах и любострастии, но своего подлинного имени так и не открыла. А в декабре умерла. Самозванка покоилась на плоской доске, еще не убранная к погребению, с широко открытыми глазами. Растопырив два пальца, князь Голицын аккуратно закрыл их... Бездонное, как океан, великое молчание истории – о, как оно бывает тягостно для потомков!

В декабре двор – длинейшими караванами – покинул Москву, устремившись в столицу. До нового 1776 года оставались считанные дни. Морозище лютовал страшный. Лошади закуржавились от обильного инея. Дорога занимала пять дней и десять часов. От старой столицы до новой было 735 верст, аккуратные дощечки с номерами отмечали каждую версту... В конце поезда скромно катились Безбородко и Завадовский, а пьяный кучер из хохлов часто задевал боками возка верстовые столбы...

– Понатыкали столбив, що и нэ проихать чоловіку...

8. Комедия Бомарше

В карете императрицы Потемкин сам топил печку.

– Все время загадки! – жаловался он, обкладывая берестой поленья. – Дашь человеку мало прав – считаться с таким не будут, дашь много воли – распояшется, мерзавец, и других под себя подомнет. До чего трудна эта наука!

Екатерина, грея руки в муфте, сидела в уголке кареты, поджав под себя зябнувшие ноги. Она сказала, что империя движается не столько людьми, с нею, императрицей, согласными, сколько умными врагами ее царствования. И даже назвала их поименно: граф Румянцев-Задунайский, братья Панины, князь Репнин. Главное в управлении государством – не отвергать дельных врагов, а, напротив, приближать их к себе, делая их тем самым безопасными, чтобы затем использовать в своих целях все их качества, включая и порочные.

– Но помни, что имеешь дело с живыми людьми, а люди – не бумага, которую и скомкать можно. Человека же, если скомкаешь, никаким утюгом не разгладишь...

Отношение ее к людям было чисто утилитарным: встречая нового человека, она пыталась выяснить, на что он годен и каковы его пристрастия. Всех изученных ею людей императрица держала в запасе, как хранят оружие в арсенале, чтобы в нужный момент извлечь – к действию. Кандидатов на важные посты Екатерина экзаменовала до трех раз. Если

в первой аудиенции он казался глупым, назначала вторую: «Ведь он мог смутиться, а в смущении человек робок». Второе свидание тоже не было решающим – до третьего: «Может, я сама виновата, вовлекая его в беседы, ему не свои-ственные, и потому вдругорядь стану с ним поразвязнее...»

Пламя охватило дрова, в трубе кареты загудело.

– А зачем взяла ты у Румянцева этих ослов – Безбородко да Завадовского? Ведь их ублажать да кормить надобно.

– Ослов всегда кормят, – отвечала Екатерина. – Если их не кормить, кто же тогда повезет наши тяжести?

...

Безбородко и Завадовский появились в Москве, состоя в походном штате Румянцева, который соперников в делах воинских не терпел. И скovyрнуть Потемкина фельдмаршалу явно желалось. А тут – кстати! – Екатерина пожаловалась, что бумаг у нее скопилось выше головы, а секретари-лодыри.

– Твои реляции-то кто писал для меня?

Румянцев назвал искусника Безбородко, императрица велела явить его. Но, памятуя о завидном могуществе Потемкина, фельдмаршал сказал Завадовскому, чтобы тоже представился.

– А мне-то зачем? Да и боюсь я, – струсил тот.

– А вот как дам по шее... не бойсь!

Появление Безбородко не обрадовало Екатерину: чурбан

неотесанный, шлепогубый, коротконогий, глазки свинячьи. Зато мужественная красота Завадовского ей приглянулась. Близ этого чернобрового красавца Безбородко казался женщине ненужным и даже глуповатым. Из вежливости она его спросила:

– Французским достаточно владеете?

– Не удосужился. Едино латынь постиг.

– Вряд ли вы мне сгодитесь, – поморщилась Екатерина.

Чтобы избавиться от уroda, она строго сказала, что возьмет его в кабинет-секретари при условии, если через год он будет владеть французским, как природный парижанин:

– Дабы времени зря не терять, покопайтесь пока в делах иностранных, разберите в моих шкафах книги, я вас у принятия челобитен попридержу... А там видно будет!

По приезде в столицу Завадовский получил от императрицы перстень с ее монограммой, а Безбородко, словно крот, перерывал архивы, принимал челобитные, штудировал дипломатические акты. На масленицу Екатерина созвала к блинам всех дежурных при дворе. Велела и кабинет-секретарей позвать. Камер-лакей доложил, что в канцелярии пусто, как на кладбище:

– Только **какой-то** Безбородко торчит!

– Ну что ж. Зови хоть его... торчащего там!

За блинами возникла речь об одном старинном законе; все путались, плохо в нем извещенные, и тогда Безбородко с конца стола прочел его наизусть. Екатерина, не доверяя та-

кой памяти, велела принести том законов, а Безбородко подсказал:

– Это на странице двести семнадцатой, снизу!

Все точно. Теперь Екатерина иначе взглянула на эту картину, любопытствовала об успехах во французском. Безбородко ответил ей:

– Я решил, что латыни и французского маловато. Заодно уж итальянский с немецким изучаю. Скоро буду знать.

– Отчего у вас прозвание столь смешное?

– Не смешное, ваше величество, а страшное. Предку моему Демьяну татары крымские в злой сече на саблях отсекали подбородок, оттого потомки и стали писаться Безбородками...

Работать с Екатериной было легко. Она быстро схватывала суть чужой мысли, придиралась лишь к точности выражений письменных, но в разговоре с нею можно было не стесняться. Часто она прерывала собеседника на середине фразы:

– Довольно! Я уже поняла вас...

От глаз Потемкина не укрылось женское внимание императрицы к Завадовскому. Но спросил он его – с небрежностью:

– Откуда у тебя перстень с шифром матушки?

– Матушка подарила.

– Беря у матушки, ты бы спросил у батюшки...

Фаворит возлежал на софе, над ним висела картина его

любимого художника Жана Грёза. Английский посол уже извещал короля Георга III: «Некая личность, рекомендованная Румянцевым, имеет, кажется, надежду овладеть **полным** доверием русской императрицы». Но вскоре посол поправил сам себя: «Однако влияние Потемкина ныне сильнее, чем когда-либо...». 27 января Корберон депешировал во Францию, что Потемкин получил Кричевское воеводство в Белоруссии с 16 тысячами душ, «каждая из которых может приносить ему по пять рублей в год. Но здесь уже поговаривают, что такая милость – призрак близкой опалы». Теперь очень многое в фаворе Потемкина зависело от реакции европейских дворов. Мария-Терезия первой догадалась признать (уже в европейских масштабах!) большую роль Потемкина в русской жизни, и вскоре он получил из Вены богатый диплом на титул «Светлейшего князя Священной Римской империи».

Его сиятельство превратился в его светлость!

Светлейший, обставленный бутылками с квасом и щами, валялся на диване, когда Екатерина поздравила его с чином поручика кавалергардов.

– Катя, а ведь ты забыла стихи, что в молодости писал я тебе. Помнишь, сравнивал в них себя с червем ничтожным, который, влюбившись в сверкающую звезду, из земли по ночам выползает. Теперь плачу: верить ли мне в любовь твою?

– Верь. Ты моя последняя женская радость...

Она подарила ему Аничков дворец. Вместе они покатали

в санях – критиковать Фальконе. По дороге им встретился маркиз Жюинье, Екатерина пригласила посла сопутствовать им. Маркиз сказал, что в Париже умирает от рака его мать.

– Разве ваша Франция не имеет хороших хирургов?

– Имеет. Но нужна смелость решиться на операцию...

Фальконе ругали тогда все кому не лень. Между делом он перевел Плиния, в Париже ему досталось и за Плиния. Теперь приехала Екатерина с маркизом Жюинье, а с ними Потемкин, который, слава богу, хоть понимает, как трудно переводить Плиния. Но все хором винили Фальконе за то, что Гром-камень, с таким трудом в Петербург доставленный, мастер безжалостно обтесал, уменьшив его исполинские размеры. Фальконе устало ответил, что нельзя же Петра I помещать поверх неуклюжей глыбины, поросшей травой и мохом, к тому же еще и треснувшей от удара молнии.

– Я не понимаю, ради чего меня звали в Россию? Если только затем, чтобы водрузить на площади уникальный булыжник, так для этого занятия достаточно опыта Ивана Бецкого.

– Ладно! – согласилась Екатерина, кутаясь в шубу. – Давайте дальше как угодно, но прежде заключите почетный мир с врагами, как я заключила мир с султаном турецким.

– С турками, – отвечал Фальконе, – мир заключить было гораздо легче, нежели мне с вашими придворными дураками.

Екатерина потом говорила Потемкину:

– Французы всегда бывают или юны, или стары, так как зрелый возраст проскакивает без задержки, словно курьеры мимо станции, на которой плохо кормят...

Конюшенная контора уже готовила 1100 лошадей для проезда прусского принца Генриха, которого Фридрих послал в Петербург ради уточнения политических разногласий. Генрих имел от короля еще и тайное поручение: избавить сердце Натальи Алексеевны от страсти к графу Разумовскому.

Потемкин недавно получил датский орден Слона, а принц Генрих привез ему прусский орден Черного Орла. В благодарность за это светлейший отправил королю в Сан-Суси целый мешок русского ревеня, столь ценимого в Европе.

10 апреля Natalie ощутила близость родов.

...

Появление принца Генриха народ встретил с большим подозрением: «В прошлый раз приезжал, так чуму на Москву наслал. Гляди-ка, брат, чего он сейчас натворит?..» От народа, как ни прячь, ничего не скроешь, и петербуржцы знали, что разрешение великой княгини от бремени запоздало на целый месяц. Теперь все ожидали 300 выстрелов из пушки – если явится сын, или 150 – если родится девочка. Но пушки молчали... На второй день Екатерина вызвала врача Крузе и графиню Румянцеву-Задунайскую, жену фельд-

маршала, сведущую в женских делах. Пришел на помощь и славный хирург Тоди, он без промедления хотел накладывать акушерские щипцы, предупредив императрицу злое-ще:

– Хоть по кускам, но дитя надо вытащить ради спасения матери...

Екатерина просила его не спешить с ножом:

– Лучше посоветуйтесь с моим Роджерсоном.

Роджерсон заявил, что кесарево сечение необходимо:

– Строение таза таково, что родить она не может...

Это был первый сигнал с того света, и ребенок скончался во чреве матери, а кости бедер ее так и не раздвинулись. Екатерине доложили, что вскрылась Нева, по реке мощно двигается лед. А согласно петровским традициям, крепость в честь открытия навигации должна устроить салют.

Но пушки были заряжены совсем для иной цели.

– Не надо лишнего грохоту, – велела Екатерина. – Все ожидают иного салюта и, ударь пушки, начнут радоваться.

– Пусть они стреляют, – простионала Natalie...

Роджерсон энергично настаивал на операции.

– Это как решит Сенат, – отвечала ему Екатерина.

А любой Сенат, даже мудрейший, меньше всего схож с консилиумом гинекологов, потому старцы долго размышляли, чем же кесарево сечение отличается от обычного сечения (розгами, допустим). Наталья Алексеевна иногда слезала с постели, переходила в кресла. Уже тогда ее комната, обтяну-

тая зеленым тиком, стала наполняться зловонием; в матери гнил ребенок, и с ним же загнивала она. Принц Генрих прислал своего хирурга, но было поздно. Ему сказали:

– Началась гангрена от разложения дитяти...

Не спали канониры у пушек. Потемкин тоже не спал, проигрывая графу Панину пятую тысячу рублей. Измученная болями, молодая женщина спокойно простилась с мужем:

– Забудьте меня скорее! – И долго смотрела на графа Андрея Разумовского. Ей было уже безразлично, что люди болтают, и потому сказала любовнику при всех: – Этот мир был прекрасен для нас. Я буду ждать встречи с вами... в другом мире!

Екатерина велела звать Платона; увидев своего духовника, великая княгиня зарыдала.

Все удалились. Платон исповедовал умирающую.

Екатерина дождалась его возле дверей – с вопросом:

– В чем секретном призналась моя невестка?

– Тайна предсмертной исповеди нерушима...

На рассвете 15 апреля великая княгиня скончалась. Екатерина немедленно распорядилась ободрать все обои в ее комнатах, штофы и занавески предать огню. Она сказала:

– Догадываюсь, что сейчас газетеры в Европе уже строчат, будто я умервила свою невестку, а посему приказываю врачам произвести вскрытие – ради точных научных публикаций...

Хирурги доложили ей, что зачат был мальчик:

– Очень крупный, около девяти дюймов в плечах. Природа сама предопределила ей умереть в родах. К тому же у нее было очень странное искривление позвоночника в форме буквы S.

Екатерина повторила, что прусский «Ирод» продал ей завалящий товар, а теперь ей все стало понятно:

– Перед смертью моя невестка известила меня, что в детстве была горбатой. Потом попала в руки шарлатана, который выпрямлял позвоночник ударами кулаков и пинками колен...

Пока хирурги проводили вскрытие, Екатерина распотрошила кабинет покойной. Из потайных ящиков была извлечена секретная переписка с послами бурбонских династий. Испания и Франция, как выяснилось, давали деньги не только Разумовскому, но платили и ей. В руках Екатерины оказался и список долгов Natalie: ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. Конечно, она надеялась расплатиться с кредиторами после своего занятия престола...

А в лавках и на улицах судачил народ:

– Вот молодые-то мрут, а старую бабу сам черт не берет. Но принц Генрих – мастак: как приедет, так и нагадит...

...

Заметив, что ее сын безутешен в скорби, императрица выложила перед ним пачку писем:

– Прочти и успокойся. Раз и навсегда...

Это была любовная переписка Natalie с Разумовским.

– Не верю, не верю, не верю! – кричал Павел.

Екатерина брякнула в колоколец – явился Платон.

– Я не буду мешать вам, – сказала ему императрица. – Ес-

ли не мне, так моему сыну доверьте тайну последней исповеди. И пусть он, глупец, осознает, что частная жизнь может опасно влиять на дела государственные...

После этого она указала Елагину поставить в Царскосельском театре комедию Бомарше «Севильский цирюльник».

Ну, тут уж все нахохотались до слез!

9. На живодерне

Екатерина не пожелала оставлять невестку в усыпальнице дома Романовых – ее хоронили в алтаре церкви Александро-Невской лавры. Сановников пришло немного, лишь избранные, а Павел вообще отсутствовал. Грешница и должница была накрыта золотой парчой, над изголовьем ее колыхались черные перья страусов. Крышку гроба завинтили. Потемкин заметил, что граф Чернышев при появлении в алтаре поклонился сначала Завадовскому, а потом и ему, Потемкину. «Что за притча?» На паперти, ожидая выхода вельмож, стоял поручик Гаврила Державин, желавший вручить Завадовскому челобитную.

Но Завадовский с надменной грубостью отвернулся:

– Пошел! На кладбищах едино лишь нищим подают.

Обидные слезы брызнули из глаз Державина.

– Так и есть нищий, – отвечал он с гневом. – А подаю-то богатому. Для чего ж вы у принятия челобитен ставлены?

Но следом идущий Безбородко прошение принял:

– О чем, братец, ты просишь тут?

– Да поручился я за товарища в долге карточном, а тот сбежал, и долг евоный на мне повис. Немного и прошу у государыни – чтобы дозволила мне, дураку такому, чужих долгов не платить, коли от своих-то не знаю куда деваться.

– Ступай, братец. Я тебя понял. Все сделаю...

Державин заметил Потемкина и поклонился ему. Но фаворит проследовал мимо поэта, ослепленный страшными подозрениями.

...

Об этих днях Екатерина оставила запись: «Увидев свой корабль опрокинутым на один борт, я, не теряя времени, перетянула его на другой...» Сыну за тридцать, а внуков – не видать. Потемкин завел речь о Разумовском:

– Говорят в городе разное: то ли в Дюнамюнде отвезен, то ли уже в Петропавловской крепости сидит.

– А никуда я его сажать не стану! – возразила Екатерина. – Сделаю лишь материнское внушение через канцелярию Шешковского и приищу ему место в европейской политике.

– Да он же Бурбонам продался.

Екатерина преподала урок политической игры:

– Дурные качества столь же полезны, как и положительные. Граф Андрей доказал, что способен быть не только любовником, но и дипломатом бесстрашным, что мне и необходимо от него...

Потемкин всегда покровительствовал Разумовским, считая их людьми умными и активными. Особенно любил он сестру графа Андрея, Наталью Кирилловну Загряжскую, некрасивую горбуницу, он охотно исполнял все ее прихоти и капризы. Во дворце Разумовских (что на Мойке у Полицей-

ского моста), играя с Натальей Загряжской в карты, светлейший спросил ее:

– Граф-то Андрей где нынче прячется?

– У меня... где же еще?

– Ты скажи братцу, что, ежели на живодерню к Шешковскому попадетя, пусть не садится в кресло напротив стола Шешковского. Там есть рычаг такой, которым кресло с виноватою персоной в нижний этаж переводится. А внизу кнутобойцы, лица наказуемого не видя, ему посекании делают.

– Куда ж Андрею теперь? За границей спастись?..

Но спастись стало невозможно: за каждым шагом Разумовского следили шпионы. Почувяв неладное, он заметался, скрываясь на пригородных дачах. Его охотно прятали у себя любовницы – Анастасия Нелединская-Мелецкая и княгиня Марья Барятинская. Однажды на улице, заметив Корберона, он лишь на секунду распахнул дверцу кареты, успев крикнуть французскому атташе:

– Не старайтесь искать меня! За мною следят...

Но сам не заметил, как на козлах его кареты подменили кучера, и Разумовский невольно испытал ужас, увидев себя во дворе незнакомого дома. Кто-то распахнул двери:

– Ваше сиятельство, милости просим... ждем!

Андрей был извещен об искусстве Шешковского. Инквизитор иногда прямо с придворного маскарада увозил какую-либо фрейлину, не в меру болтливую. Выдерет ее во славу божию, после чего доставят ее обратно во дворец, где

она и танцует дальше как ни в чем не бывало. В таких случаях все кончалось визгом да писком! Но инквизитор владел и другим приемом – даст в челюсть, и будешь потом с полузубы свои в карман собирать. Помня об этом, Андрей Кириллович внутренне приготовился. Сын украинского пастуха-свинопаса, волею судеб ставший аристократом, он отлично владел той народной смекалистостью, непобедимой крепостью духа, которой отличались его недалекие предки – чумаки, запорожцы, гайдамаки, бунтари и пахари.

На втором этаже, в окружении множества икон, его поджидал обер-кнутабоек «екатеринизированной» империи. Степан Иванович встретил плута стоя, даже поклонец учинил.

– Ах, молодость! – произнес сочувственно. – Сколько грехов ей отпущено... о том и по себе ведаю. Садитесь, ваше сиятельство. – При этих словах Шешковский, как и следовало ожидать, указал на страшное криминальное кресло.

«Ага!» Разумовский первый страх уже поборол:

– Мне ли сидеть в присутствии столь важной особы?

– Напротив, – уговаривал его Шешковский, – осмелюсь ли я сидеть за столом, ежели передо мною ваше высокорожденное сиятельство! Ведь я из ничтожества произошел. Щилаптем хлебал, мух ноздрями ловил, на кулаке спал, лопухом подтирался, а посуду мою собаки облизывали. Уважьте старика: сядьте!

С разговорами он вышел из-за стола, слегка подталкивая

Разумовского к креслу. Но граф был неумолим:

– К чему эти политесы? Лучше садитесь вы...

Граф Андрей уже заметил рычаг возле стола, а Шешковский задал ему первый вопрос: с каких пор он блудно вступил в мерзкое прелюбодеяние с высоконарекленной цесаревной.

– Об этом велено мне вызнать самую государыней.

Разумовский занял такое положение, что Степан Иванович невольно обернулся лицом к нему, а спиной – к креслу.

– Сразу и вступил. Еще на корабле...

Он резко пихнул инквизитора в кресло, сразу же дернув рычаг. Потаенная механика сработала: руки Шешковского защелкнуло в капканах, укрытых в подлокотниках кресла. Пол разверзся под ним, раздалось скрипение тросов, и, в ужасе открыв рот, Шешковский величаво погрузился в нижний этаж своей сатанинской кухни. Над уровнем пола осталась торчать его голова, словно отрубленная.

– Сынок, родненький, – взмолился он, – пожалей старика. Жена дома, стомахом страдающая, дочка в невестах... Не губи!

– Придется потерпеть, – отвечал Разумовский.

Внизу звенел колокольчик, побуждая палачей к действию. Работающие сдельно, они проворно тащили со своего начальника исподнее. Потом с большим знанием дела обозрели внушительный объект – для кнутоназидания.

– Ну и ну!.. – удивились Могучий с Глазовым (дядя с пле-

мянником). – Уж не казначей ли какой попался севодни? Плеснем-ка, Шурка, по чарке, чтобы разговеться ради бесстрашия... Эть! – сказал Могучий, высекая первую искру.

– А-а-а-а, – заголосила голова Шешковского.

– Что я слышу? – удивился граф Андрей, смеясь. – Извините, но подобные неприличные звуки вам не к лицу.

– Пожалей... в отцы ведь тебе гожусь!

– У меня таких отцов не бывало, – отвечал граф.

Могучий с Глазовым продолжали обстегивать свое прямое начальство с двух сторон сразу, при этом дядя поучал племянника своего, как лучше до костей пробрать:

– Клади с наскоку! С оттяжкой жарь... Гляди – эть!

– О-о-о, – пробрало Шешковского. – Ваше сясество... голубчик мой... вот я матушке-то нажалуюсь!

– Какой матушке? Моей или... своей?

Ведя этот бесподобный диалог, молодой пройдоха обрыскал шкафы канцелярии, педантично собрал свои расписки, данные де Ласси и Дюрану, сунул в карман и список долгов покойной Natalie. Ему попался отдельный «брульон», писанный рукой Екатерины, которая начертала по пунктам, какие вопросы задавать Разумовскому. Подумав, он оставил эту шпаргалку на столе:

– Вот ею и подотрешься – это не лопух, чай.

– У-у-у, – завывал Шешковский, страдая.

– В этом мире все переменчиво, – рассуждал Разумовский с улыбочкой, почти сладострастной. – Недаром же на моги-

лах крымских татар высечены в камне философические афоризмы: «Сегодня я, а завтра ты...» Ну, всего доброго!

Андрей повернулся к дверям, чтобы уйти.

– Не покидай меня, – заревел Шешковский. – Коли уйдешь, меня ведь вусмерть засекут... Нажми пупочку!

– Какую еще пупочку нажимать мне?

– Да снизу стола. Чтобы от секуций избавиться...

Разумовский нажал «пупочку», и тогда Степан Иванович, опомнясь, сказал ему со слезами на глазах:

– Далеко пойдешь, граф! Это я тебе предрекаю. Но Христом-богом молю тебя: будь так ласков ко мне, старику, не сказывать никому, что меня в своем же доме высекли...

Разумовский отъехал к сестре, а Шешковский потащился к матушке Екатерине, доложив, что «внушение» произведено.

– Ну как? В чем сознался граф Андрей?

– Ни звука не издал... окаянный!

Она предложила ему сесть, но главный кнутабоец империи сказал, что лучше постоит... Екатерина сказала:

– Это хорошо, что граф Андрей ни в чем не сознался. Этим он еще раз доказал, что интриган испытанный, твердый...

Теперь Разумовский нравился ей еще больше! Ибо надо уметь так ловко, словно червь в яблоко, вкрасться в доверие юной женщины, обнадежить умных послов Испании и Франции. Какая изощренная хитрость, какой злокозненный ум...

Этого бесподобного наглеца Екатерина встретила во дворце: Андрей веселился на придворном машкерате.

– Как вы смели здесь появиться? – спросила она.

– По праву камер-юнкера двора вашего величества.

– Вон отсюда! Езжайте на флот – в Ревель...

А за картами спросила отца его, бывшего гетмана:

– Граф Кирилла, сколько лет твоему негодному сыну?

– Двадцать четыре, Като... орясина эдакая!

– А сколько кафтанов у него, разбойника?

– Одних жилетов четыреста.

– Куда столько? Пора бы ему и отечеству послужить. Тогда и кафтаны с жилетами иному делу послужат.

...

События следовали стремительно: едва Natalie умерла, как Румянцев-Задунайский был срочно отозван с Украины в Царское Село. «Зачем? – недоумевал фельдмаршал, готовый думать о новой военной угрозе. – Неужели из-за Буковины?..» Он ошибался: мысли двора занимало сейчас иное. Фридрих II уже пробил по Германии брачную тревогу – срочно нужна невеста! Пребывание в Петербурге его брата Генриха оказалось как нельзя кстати – принц выступал в роли свата. В переписке между Царским Селом и Сан-Суси обе заинтересованные стороны быстро договорились меж собою, а самого Павла никто и не спрашивал, желает ли он обле-

читать свое вдовство новым браком. Екатерина была деспотична: она вызвала сына к себе и поставила перед ним портрет молодой женщины.

– Мертвые пусть будут мертвы, – сказала мать, приласкав болонку, запрыгнувшую к ней на колени. – А я привыкла думать о живых... Познакомься: принцесса Софья-Доротея из дома Вюртембергского, двоюродная внучка прусского короля.

Невесте не было и семнадцати лет. Фридрих в письмах к Екатерине настоятельно подчеркивал «небывалое по годам физическое развитие» принцессы, как будто в жены Павлу выбирали акробатку для семейного манежа. Павел сказал матери, что, обжегшись на молоке, он теперь дует на воду:

– Отныне не верю ни друзьям, ни словам. Воля ваша священна, но хотел бы видеть невесту не в масле на этом холсте.

– Для этого, друг мой, я уже вызвала Румянцева, который помпезно сопроводит вас до Берлина, куда из Монбельяра торопится выехать навстречу вам и сама невеста с родителями.

Павла безмерно обрадовало посещение Берлина, где он может лицезреть своего кумира – короля Фридриха Великого! А лично побывать на парадах в Потсдаме – боже, он и не мечтал об этом! Какое счастливое совпадение! Словно забывая последний гвоздь, дабы укрепить эту матримониальную конструкцию, Екатерина сказала, что невеста родилась в Штеттине:

– Где родилась и я, ваша достойная мать...

28 мая граф Румянцев-Задунайский примчался в Царское Село и удивился, что всего-то навсего ехать ему в Берлин.

– Да я Берлин, матушка, уже брал!

– Возьмешь еще раз, – отвечала императрица.

10. Дела и дни Потемкина

Весною 1776 года Потемкин одобрил план создания нового города в Новой России по названию Екатеринослав, на строительство которого он, как наместник края, утвердил смету в 137 140 рублей и 32 с половиной копейки.

Екатерина хмыкнула:

– Откуда взялись эти несчастные полкопейки?

– А шут их знает, – отвечал Потемкин. – Не я считал, умнее меня люди считали. Но велю сразу же школу для детей строить. И консерватория на Днепре будет. Запорожцы соловьями распойются...

– Завираешься ты, но весело мне с тобою. Однако прежде консерватории не забудь тюрьму да церковь поставить...

Екатеринослав (будущий Днепропетровск) – самый первый алмаз в драгоценной короне причерноморских городов, которым еще предстояло возникнуть в степных пустырях. А мощная фигура **администратора** Потемкина уже выростала из-за спины полководца графа Румянцева, понемногу затемняя фельдмаршала «светлейшею» тенью. Потемкину суждено было довершить то, что начинал Румянцев...

Он готовил себя к роли **Таврического!**

...

А простреленная голова Голенищева-Кутузова долго еще не давала покоя: сам одноглазый, Потемкин понимал, како-во смолоду глаза лишиться. Коварное же нападение турок на Крым после мира ожесточало сердце его. Где же предел терпения России, которое растянулось на тысячелетия? После летних маневров флота Балтийского стали готовить эскадру под коммерческим флагом, чтобы корабли, обогнув Европу, вошли в море Черное, усилив флотилию тамошнюю. Потемкин мучился:

– Пропустят ли агаряне корабли наши? А ежели запрут, не прорывать ли нам Босфор с пальбой пушечной?

– Помни, что к войне мы не готовы, – отвечала Екатерина.

Потемкин горячился: за периодом послевоенным – без промедления! – грядет период предвоенный, и горе тому, кто истины сей ребячьей не понимает. Екатерина с фаворитом – как супружеская пара: он падал духом – она укрепляла его, а чего не хватало императрице, Потемкин активно дополнял своей энергией. Среди пиров и забав, жадный до всяческих удовольствий, то усмиряя себя постами, то возбуждая излишествами, Потемкин часто искал одиночества, а придворные в такие дни думали, что фаворит отсыпается от грехов да кается перед богом...

Никогда он не каялся! Васенька Рубан, дружочек верный, пожалуй, один только и знал, что в периоды обязательного затворничества опять до крови будут изгрызены ногти на пальцах светлейшего; алчно поедая апельсины и редьку,

селедку и ананасы, его княжеская светлость будет читать и мыслить... Еще в Москве Потемкину поручили надзор за Оружейной палатой, в которой сыскал он немало древностей рукописных.

– Многое тут, Васенька, тиснения достойно типографского – ради веков будущих. Ты нужное избери. Возвеличь в издании книжном! Ежели не нам, потомкам сгодится. И перестань стихами чирикать – не дело. Савва Яковлев дал тебе во дни морозные шубу свою поносить – ты его одами своими всего измазал. Платон сунул тебе горшок с медом – ты весь в рифмах излился.

Василий Григорьевич Рубан впал в отчаяние:

– Велика ли корысть моя, ежели от эпиталям свадебных да от эпитафий похоронных кормление себе имею? Ты лучше Ваську Петрова грызи: он поденщик престола, а я поденщик публики.

Петрова помянул он кстати. Потемкин сказал:

– Этот не пропадет! Ныне он, щербатый, при английской герцогине Кингстон-Чэдлей обретается. Сказывали мне, что в роскошной галере по Тибру римскому плавает.

Рубан отвечал: щербатым да кривым на баб везет.

– А мне, корявому, и к поповне не подступиться...

Потемкин ценил поэта за трудолюбие, схожее с трудолюбием Третьяковского. Но, сам писавший стихи, светлейшей отлично в них разбирался и чуял, что Рубан от Парнаса далек:

– Меня, брат, на мякине не проведешь, от рифмы звонкой не обалдею. Не будет тот столяр, кто рубит лишь дрова, не будет тот пиит, кто русские слова разрубит на куски и рифмой их заключит... А ты не поставляй за деньги глупых од и рылом не мути Кастаньских чистых вод.

Большой (хотя и неряшливый) ум Потемкина пытался сочесть сказанное о Крымском ханстве до него с тем, что ему самому думалось. В историю он окунался как в омут, где водится всякая нечисть. Фаворит усердно работал над статьей об уничтожении ханства – этой поганой «бородавки», в вечном воссоединении татарских и ногайских земель с пределами великой России. Рубан делал для него выписки из старинных актов. Сообща они читали о тщетных грезах Ивана Грозного, вникали в упреки царю от князя Андрея Курбского, обвинявшего царя в бессильной трусости (почему, разрушив ханство Казанское, не повел войска сразу на Крым?). Высокоумный монах Юрий Крижанич убеждал царя Алексея Романова «прогнать из Крыма общих для всего света мучителей и разбойников» – татар! Потемкин горевал за те беды, какие выпали на долю князя Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, в его несчастных потугах по взятию Крыма. А сам Петр Великий? Тоже ведь опростоволосился в Прутском походе... Потемкин начитался до одури, велел Рубану нести в типографию «Поход боярина Шеина к Азову» и сказал поэту:

– Кровью от предков наших тропа на Крым полита...

Неожиданно предстал перед ним Безбородко.

– Имею честь, – склонился он перед фаворитом, – занять ваше светлейшее внимание опытом слога моего, коим начертал я ради приятств ваших «Записку, или Кратчайшее известие о Российских с Татарами делах и войнах».

– А ну дай сюда! – выхватил рукопись Потемкин. Глянул и отбросил ее от себя. – Врешь, хохлятина! Слог-то недурен. Разве тобою писано?

– Верьте, что все бумаги подобным слогом пишу.

Потемкин поверил. «Записка, или Кратчайшее известие» Безбородко удачно придала его мыслям о Крыме стройность.

– Мало при дворе людей, которы бы писали грамотно. А ты, брат, даже знаки препинания расставил... Удивлен я! – говорил Потемкин.

– Счастлив угодить вашей светлости. По должности своей все архивы дворцовые переглядел, и дела восточные зримо выявились. По мнению моему, – заключил Безбородко, – настал момент Крымское ханство унижить, а южной России принести блаженство покоя и благополучие хозяйственное.

– Ну, спасибо, Александр Андреевич... удружил!

Потемкин понял: Безбородко будет ему союзен.

...

При дворе блуждали сплетни, будто Потемкин на деньги, отпущенные для новых городов, в родимом сельце Чижове

строит сказочные дворцы с фонтанами и римскими термами, где и собирается жить, если карьера его оборвется. Многие верили в это. Верил и граф Румянцев-Задунайский...

Сегодня фаворит имел долгую беседу с маркизом Жюи-нье и его атташе Корбероном, которые пытались доказать, что если Франция возьмется за выделку русской водки из астраханских вин, то это будет выгодно для России. Потемкин обернулся к Рубану:

– Вася, глянь-ка, сколько анкерov винишка своего паршивого французы продали нам в прошлом годе?

– Полсотни тыщ анкерov, ваша светлость.

– Хорошо. Вы, французы, можете гнать водку из наших вин, но в таком случае двадцать пять тысяч анкерov скостим.

– Франция потерпит убытки... так нельзя!

– Россия потеряет еще больше, если сглотает свою пшеничную да запьет ее вашей – виноградной. Вина в мире достаточно, чтобы всем нам спиться, но его не хватит, чтобы экономику выправить. Лучше уж мы продадим вам украинский табак.

– Посольство короля Франции, – заметил Корберон, – согласен покурить ваши табакки, чтобы сделать о них заключение. А сейчас поговорим о продаже вами конопли.

Конопля – главное сырье для корабельного такелажа.

– Вася, глянь, что у нас там с коноплей?

– В прошлом годе четыреста тыщ пудов ушло за границу за шестьсот тыщ рублей. Полтора рублика пудик! Грябят.

– Неурожай у нас, – взгрустнул Потемкин, – дожди тут были. Плохо с коноплей. Ежели два рубля пуд – согласны.

– Вы разорите нас! – воскликнул маркиз Жюинье.

– Мы согласны вместо конопли продавать флоту Франции пеньку, выделанную из той же конопли. Три рубля пуд!

– С вами трудно разговаривать, – сказал Корберон.

– А мне какво? Я ведь в этих делах не смыслю...

Все он смыслил! Иначе бы и не разговаривал. Но тихое возвышение Завадовского уже начинало разъедать его душу. А придворные исподтишка наблюдали за ним. Потемкин знал, что его не терпят, и, сохраняя важность, ему присущую, поглядывал на вельмож с высокомерием, как господин на вассалов. Однажды он навестил сестру Марью Самойлову.

– Гриша, – запричитала бабенка, – шептунов-то сколько. Обманывают тебя, да еще и осмеивают... Что ж ты добрых людей не собрал, одних врагов нажил? Да оглядись вокруг и уступи... Неужто все мало тебе?

– Деньги – вздор, а люди – всё, – отвечал он. – Ах, Маша, Маша, сестреночка славная... Ее можно и оставить. А на кого дела-то оставлю?

Потемкин всюду начал открыто высказываться, что Россия не одним барством сильна, что нельзя упования викториальные возлагать едино лишь на дворянство.

– Пришло время открыть кадетские корпуса для детей крестьянских и сиротинок солдатских, пусть будут офицеры плоть от плоти народной... Рано мы забыли Ломоносова, ра-

но!

По чину генерал-адъютанта, неделю он провел во дворце, навещая Екатерину. Однажды сказал ей:

– А дешперация-то у тебя уже не та, что раньше!

– Дешперации более шибкой не требуй, ибо дел стало не-
моготу...

В караул Зимнего дворца заступила рота преображенцев.
И заявился к нему Гаврила Державин – не зван не гадан.

– Чего тебе? – спросил Потемкин.

Стал поручик говорить о заслугах своих. Печалился:

– А именишко мое под Оренбургом вконец разорено.

– Покровителя, скажи, имеешь ли какого?

– Был один. Да его Петька Шепелев шпагой проткнул. Это
князь Петр Михайлович Голицын.

Потемкин омрачился. Скинул с ног шлепанцы.

– «Приметь мои ты разговоры...» Как дале-то у тебя?

Державин стихи свои читал душевно и просто:

Приметь мои ты разговоры,

Промысль о мне наедине;

Брось на меня приятны взоры

И нежностью ответствуй мне...

Представь в уме сие блаженство

И ускоряй его вкусить:

Любовь лишь с божеством равенство

Нам может в жизни сей дарить.

Потемкин расцеловал поэта с любовью.

– Слыхал? – спросил он Рубана. – Вот как надо писать.

А ты, скула казанская, – повернулся он к Державину, – чего пришел? Или в полковники метишь?

– Да мне бы чин не повредил, – сказал Державин. – Опять же, если супругу ссыскивать, как без чина к ней подойдешь?

– Будешь полковником... я тебя не оставлю.

Когда указ вышел из типографии Сената, Державин глазам своим не верил: стал он коллежским советником, что по «Табели о рангах» и соответствовало чину полковника.

Но дни Потемкина были уже сочтены.

...

Разом опустела его приемная, которую раньше наполняли люди и людишки, ищущие его милости, как собаки ласки, – это признак недобрый. Вот и сегодня навестили только два дурака, конъюнктур придворных не разгадавшие. Один дурак высказал дурацкое мнение, что он благороден и лишь потому беден.

– Не ври! – сочно отвечал Потемкин. – Еще не всякий бедняк благороден и не каждый богач подлец. Убирайся вон!

Второй просил у светлейшего вакантного места.

– Вакансий свободных нет, – сказал Потемкин. – Впрочем, повремени: скоро мое место освободится, так ты не зевай...

В разгар лета, желая испытать крепость чувств к нему Екатерины, Потемкин размашисто вручал ей прошение об отпуске:

– Слышано, что где-то Тезей оставил какую-то Ариадну. Но еще не приходилось мне читать, чтобы Ариадна оставила своего Тезея... Воля твоя, матушка! Отпусти ради отдыха.

Екатерина проявила колоссальную выдержку.

– Ты надолго не покидай нас, – сказала она.

Это ошеломило Потемкина. Утопающий, он вдруг начал цепляться за последние обломки своего разбитого корабля:

– В подорожной прошу указать, что еду не микстуры пить, а ради инспекции войск в губернии Новгородской.

Он уехал, а при дворе началось безумное ликование: «Ура! Нет больше светлейшего, а Петя-то Завадовский – скромница, он из темненьких, мухи не обидит... Золотой человек! Матушка небось знает, на кого ей уповать». Завадовский торопливо вселился в покинутые Потемкиным дворцовые апартаменты, стал передвигать мебель, нанял для себя учителя игры на арфе. А дабы чувствовать себя уверенней, собирал возле себя недругов Потемкина, и они порочили князя всячески. Но Гришка Орлов конфидентом его не стал.

– Чего радуешься? – грубо сказал он Завадовскому. – Или возомнил, что таким, как ты, замены не сыщется? Так будет замена. Где взвод побывал, там и батальону место найдется.

Ты на арфе играй, играй. Доиграешься...

11. Берлинские амуры

Перед отъездом в Берлин граф Румянцев-Задунайский предостерег Екатерину относительно Безбородко:

– Хотя и умен, как цыган на лошадиной ярмарке, но ты его прижучь. Сладострастия предан безмерно, женщин любит до исступления, за девку штаны свои заложит.

– Да какой девке нужна эта уродина?

– Пробавляется любовью по вертепам.

Для Екатерины это была новость:

– Безбородко допущен до дел иностранных, секретных.

Ты уж не пугай меня, скажи прямо: продажен он или нет?

– Увы, матушка, продажен.

– Уловлен хоть раз был? На чем попался?

– На войне патенты офицерские за деньги продавал. При армии на Дунае расплодил офицеров столько, что капитаны на запятках карет ездили, а поручики мне сапоги чистили.

– Плохо, что ты подсунул мне Безбородко, не предупредив. А теперь он в тайны политики Кабинета проник. Послы же иноземные, сам ведаешь, так и рыщут, кому бы взятку сунуть. Выход один, – сказала Екатерина, не желавшая расставаться с Безбородко, – завалить его золотом по самое горло, чтобы он, жук, в подачках от иностранных дворов не нуждался.

– А где ты денег возьмешь столько?

– На других экономить стану, – отвечала Екатерина...

В первую очередь она сэкономила на сыне. В свадебную поездку императрица снабдила его столь скудненько, что Павел над копеечкой трясся. Правда, она вручила Румянцеву большой сундук с дорогими подарками, но тот Павла к нему не допускал:

– И ключа не дам! Раздать-то все можно...

Впрочем, стоило кортежу Павла пересечь границу, как он был встречен генералами Фридриха и с этого момента пруссаки честно и щедро расплачивались за все расходы жениха...

– Эти русские меня разорят, – ворчал король.

Фридрих любил брачевания в политических целях, к выгоде Гогенцоллернов, но, упаси бог, брать с него пример для супружеской жизни. Свадьбу свою король обогатил исторической фразой: «Здравствуйте, сударыня, и прощайте». С тех пор супруги виделись раза два в год. Король выходил из одной комнаты зала, королева появлялась из других дверей. На дальнем расстоянии от мужа она делала ему старомодный реверанс: «Счастлива видеть ваше величество здоровым». Фридрих, не приближаясь к жене, отвечал издали: «Желаю здоровья и вашему величеству». На этом вся интимность отношений заканчивалась. Но сейчас, в канун приезда Павла, король велел королеве явиться при дворе. Втайне Фридрих рассчитывал, что визит русского наследника заставит быть скромнее венских захватчиков.

– Пусть там не облизываются на Силезию и Баварию, – сказал король. – Я еще способен устроить всем хорошую чечотку. – Фридрих велел справить для невесты три платья. – Два, а не три! – крикнул он вдогонку уходящему портному.

Расставаться со своими грошами король не любил. Мать невесты просила у него денег на приданое.

– Вот новость! – отвечал король. – Откуда я знаю, мадам, на какие пуговицы вы истратите мои деньги? Будьте довольны и тем, что ваша дочь, став русской цесаревной, ни одного раза в жизни не ляжет спать голодной...

Из депо извлекли дряхлые фаэтоны прошлого века, Фридрих велел освежить их сусальным золотом, а заодно уж (опять расходы!) вставить новые стекла взамен выбитых. Софию-Доротею Вюртембергскую тщательно готовили для встречи с женихом: пытаясь устранить неуклюжесть провинциалки, обучали легкости шага, умению садиться, «трепетать» веером. Перед пустым креслом она разучивала книксены и реверансы, а баронесса Оберкирх выступала в роли дрессировщицы:

– Не вижу грации! Где непринужденность вашей улыбки? Еще раз сорвите цветок и, нюхая его, изобразите на своем лице неземное блаженство... вот так! Теперь еще раз отретируем важную сцену появления перед русской императрицей...

Заодно разрабатывались темы будущих разговоров с женихом. Конечно, пересадка из Монбельяра на будущий пре-

стол России – дело слишком серьезное, и тут стоило потрудиться. Был учтен и горький опыт первой жены Павла. Невесте внушали: что бы там ни вытворяла Екатерина Великая, твое дело – производить детей и помалкивать... Вюртембергское семейство всегда было унижено бедностью, дети привыкли ходить в обносках. Таких принцесс, как невеста Павла, можно было встретить на базарах немецких городишек: с корзинкою в руках, в накрахмаленном чепце, они до обморока торговались, чтобы не переплатить лишний пфенниг за пучок петрушки.

Между тем кортеж жениха приближался. За Мемелем граф Румянцев впал в мрачное состояние духа. Померания плыла в окошках кареты осыпями желтых песков, унылыми перелесками. На этих полянах Румянцев, еще молодым, сражался с Фридрихом в Семилетней войне.

– Не знаю уж, как он кости свои собрал...

– Не вспоминайте об этом при короле прусском.

– А его тоже били! – отвечал Румянцев цесаревичу.

Принц Генрих ехал в этом же кортеже и не знал, как ему оправдаться перед королем. Екатерина предупредила: любой следующий захват польских земель станет опасен для сохранения польской нации. Но в кабинете Фридриха висела карта Польши, он постоянно думал, какие бы еще куски от нее отрезать. Данциг! – вот о чем хлопотал король, но русский Кабинет считал, что Данциг должен остаться польскою Гдыней...

Впереди кортежа играли на трубах почталыоны.

Берлин был уже большим и красивым городом: множество садов, зеленые аллеи, опрятно одетые жители – пуговицы пришиты к кафтанам и мундирам прочно, на века! Павел въехал в Берлин через триумфальную арку, обыватели и чиновники кричали «ура!», за каретою бежали семьдесят девиц с цветочками, изображая легкомысленных нимф и пастушек, играла музыка, звонко палили пушки.

Король ожидал Павла возле дворца – сухой и желчный старик в затасканном мундире.

– Я прибыл с далекого Севера, – приветствовал его Павел, – в ваши чудесные края и счастлив получить драгоценный дар судьбы из рук героя, удивляющего потомство.

Трость взлетела в руке короля.

– Вот! – произнес он, указывая на Румянцева. – Вот подлинный герой нашего бурного века. С храбростью Ахиллеса сочетает он в себе добродетель Энея, и мой язык уже слаб, чтобы возвеличить его. Сюда надобно вызвать легендарные тени Гомера и Вергилия... А каков мир! – произнес король. – Румянцев вырвал его у турок, держа в одной руке перо, с конца которого капали чернила, а в другой сжимая победоносную шпагу, с лезвия которой стекала варварская кровь...

Фридрих пропустил Павла, потом сказал Румянцеву:

– Мы старые друзья! Прошу следовать впереди меня.

За обедом король сидел между Павлом и Задунайским, а все Гогенцоллерны стояли навтыжку, словно лакеи.

– За что нам честь такая? – шепотом спросил Павел.

– За то, что мы били их, – сообразил Румянцев.

...

В покоях королевы Павел был представлен невесте, плеча которой он едва достигал своим париком. Физическое развитие ее и впрямь было великолепно. Мать невесты хвасталась, что по совету Руссо всех детей вскормила собственной грудью:

– Теперь вы сами видите, что у меня получилось!

Опыт вполне удался: София-Доротея обладала таким мощным бюстом, как будто ее готовили в кормилицы. Маленькому цесаревичу очень понравилась гигантская принцесса. Заметив в ее руках нарядный альбомчик, Павел справился о его назначении. Ответ был – конечно же! – продуман заранее:

– Я записываю в альбом русские слова, чтобы при свидании с вашей великой и мудрой матерью сразу заговорить с нею по-русски и тем доставить ей удовольствие...

Павел просил принца Генриха передать невесте, что он влюблен, а через два дня сделал формальное предложение. «Политика... голая политика», – отозвался об этом король.

– Дети мои, – обратился он к молодым, – прошу откусать с немощным старцем. У меня найдется и вкусенькое.

Он угостил их паштетом из балтийских угрей, итальян-

ской «полентой» и говядиной, разваренной в водке. Беседуя с ними, король не забывал о Польше:

– В прусских пределах я совместил три религии – католическую, византийскую (вашу!), протестантскую. Таким образом, пощипав Польшу, я как бы принял святое причастие. Это не принесло покоя моей слабой душе: для благоденствия королевства мне, старику, не хватает еще и... Данцига!

– Ваше величество, – приложился Павел к руке короля, – если бы я только царствовал, поверьте, что Данциг...

– Не будем забегать впереди наших лошадей, – остудил его порыв Фридрих. – Беспощадная мельница времени и так мелет муку для будущих пирогов. Я сейчас призову своего наследника...

Фридрих пригласил племянника, будущего короля Фридриха-Вильгельма, и скрепил пожатие их рук:

– Клянитесь, дети мои, что, достигнув престолов, вы сохраните дружбу наших дворов – в сердцах! в политике!

– Клянемся, – отвечали будущие самодержцы.

– И завещайте эту клятву детям своим.

– Клянемся, – последовал ответный возглас.

Очень довольный, король вернулся к столу:

– Моя бедная матушка говорила, что в старости можно делать все, что делал в юности, только понемножку. У меня сегодня счастливый день, и мне захотелось выпить... немножко!

Павел с нетерпением ожидал, что король угостит его зре-

лицем потсдамских парадов, фрунтов и прочими чудесами плацев, но не тут-то было: опытный политик, Фридрих не сделал этого, чтобы не возбудить недовольства к себе в Петербурге. Он лишь мельком, без охоты, показал свой Потсдамский полк:

– Есть в этом мире вещи куда более интересное фрунта...

Жениха с невестой отвезли в замок Рейнсберг, стоящий посреди угрюмых лесов, на берегу мрачного, затихшего озера. И здесь, в окружении давящей тишины, Павел бурно разрыдался:

– Я так одинок... я так несчастен, принцесса!

– Со мною вы не будете одиноки, – утешала его невеста. –

Я принесу вам покой души и много детей.

– Ах! Сколько же мне еще можно **ждать?**

– Всего девять месяцев, – заверила его невеста.

– Да? Но ведь я ожидаю **другого**...

Не рождения наследника, а смерти матери!

...

Екатерина велела жене фельдмаршала Румянцева выехать в Мемель – навстречу вюртембергской невесте.

– Мне нужен внук-наследник, – сказала императрица. –

Соблаговолите учинить тщательный осмотр, о чем и доложите. Я не хочу повторения истории с Natalie... Заодно уж, графиня, проследите, чтобы ни одна немецкая мышь не про-

шмыгнула на Русь за вюртембергскою кисочкой...

От Мемеля Павел ехал один, а невеста осталась в Мемеле проститься с родителями. Она умоляла русскую свиту пропустить с нею в Россию подругу, Юлиану Шиллинг фон Канштадт (будущую мать будущего шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа), но русские твердо держались указаний своего Кабинета:

– Вы можете ехать одна. Только одна!

Павел долго ожидал невесту в Ямбурге:

– Что случилось с вами, волшебная принцесса?

Губу невесты безобразно раздуло, в жестоком флюсе оттопырилась ее щека, один глаз совсем заплыл. Она сказала:

– Продуло в дороге. И пчелка в губку кусила...

Екатерина встретила молодых у шлагбаума Царского Села. Обозрев флюс и царственные габариты принцессы, она не удержалась и, фыркнув, шепнула своей наперснице Парашке Брюс:

– Подумать только! Сколько добра сразу из Монбельяра, и все это достанется одному моему глупому сыну...

Попав в райское великолепие дворца Екатерины, невеста рухнула на паркет и поползла к императрице на коленях. Екатерина (если верить Корберону) крикнула:

– Быстро закрыть двери из аванзалы!

Она не хотела, чтобы придворные видели это недостойное пресмыкательство. «Зрелище, – писал Корберон, – было сокрыто от любопытных глаз. Но, очевидно, императри-

ца осталась довольна подобным унижением...» Принцесса была крещена с именем Марии Федоровны, а поздней осенью состоялась свадьба. Покидая застолье с Петром Завадовским, императрица удалилась, благословив молодых словами:

– Ну, живите, дети мои. Только не скандальте...

Мария Федоровна углубилась в изучение шкафов и комодов своей предшественницы. Гардероб-мейстер извинился, что не успел к приезду раздать бедным людям все ее платья и обувь.

– Бедным? – обомлела юная цесаревна. – Да я сама все сношу... Где камеристка? Я должна сверить, что осталось в шкафах, со списком вещей покойницы. – К великому ее огорчению, доставало пары варшавских туфель. – Я должна их найти. Если они обозначены в табели, значит, должны быть. Какое счастье, что обувь покойницы мне впору!

...

Когда Павел покинул Берлин, вдогонку ему Фридрих произнес вещице слова, которые в истории оправдались:

– Наследник высокомерен. Надменен. Заносчив. Управляя русскими (а это народ суровый), он недолго удержится на материнском престоле. Боюсь, что Павла ожидает такой же конец, который постиг и его сумасбродного отца.

Это пророчество Фридрих II закрепил в своих мемуа-

рах. Подсчитав расходы на гостей, он заболел от огорчения. А узнав о его болезни, Вена стала потихоньку собирать войска в Богемии, чтобы затем при последнем вздохе «старого Фрица» наброситься на Силезию. Но «старый Фриц» воскрес.

– Ах, негодяи! – вскричал король, срывая с головы ночной колпак. – Если Вена не дает мне права болеть спокойно, я ведь способен еще вскочить в седло, плюнув на все рецепты великого врача Циммермана... Европа еще услышит, как грохочут прусские барабаны и как волшебю поют мои воинственные флейты... Горе вам, венские зазнайки!

Мария-Терезия тихонечко отвела войска из Богемии.

12. Залом

Потемкин пропал – несчастный, отверженный. Растворил себя в дорогах деревенской России, ночевал на сеновалах. Опустился. Обрюзг. Ногти отрастил...

Не стал он первым. Не быть уже и последним!

На ухабах трясло. Лошади ступали тяжело.

Единым оком озирает он скорбные пажити и поляны, слушал несытый вороний грай над храмами сельскими, в которых и молился, взывая от бога тягостей, а не праздников. Худо было.

Поля, поля, поля... «Господи, дай мне сил в дороге!»

– Не оставь ты меня, грешного, в унынии сердца моего...

Был вечер. Впереди лежало немалое село. Издали доносились бабьи плачи, причитания старух, мужики же оцепенели в молчании. Подъехал ближе, спросил:

– Люди добрые, или беда какая у вас?

– Залум! Залом у нас, миленький. Видать, за грехи наши наказал господь бог...

Потемкин грузно выбрался из возка.

– Где залом-то у вас? – спросил, сам робея.

– А эвон... вчера у самой дороги скрутило.

Что такое залом, Григорий Александрович ведал. Лихой человек или ветер иногда причудливо закручивал на поле стебли ржаные в узел. А народ считал, что хлебов коснулась

сама нечистая сила. Распутать залом боялись, ибо издревле верили в примету: развязавший залом – не жилец на белом свете! Коснуться залома мог только священник безгрешной жизни, да и тот брался развязывать узел не голыми руками, а через епитрахиль... Потемкин кликнул старосту.

– За священником послали? – спросил он.

– Побегли парни. Ищут. Боятся он. Прячется. Уж больно ржицу-то жаль... сгибнет. Ишь бабы как воют! Беда нам, беда...

Со стороны села два дюжих парня вели под руки священника. Босыми ногами он загребал бурую пыль, на его жилистой шее жалко болталась выцветшая от времени епитрахиль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.